

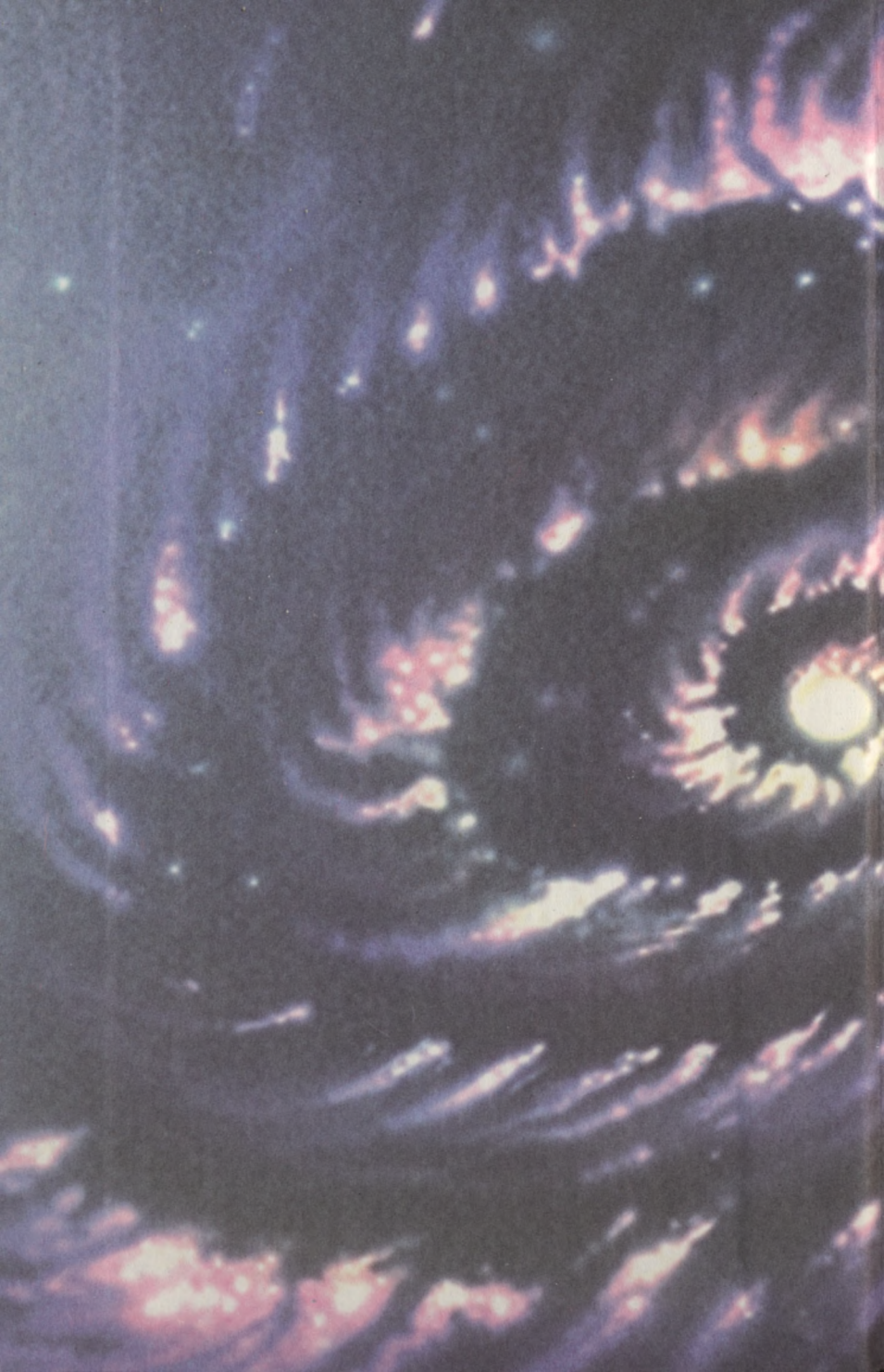
МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

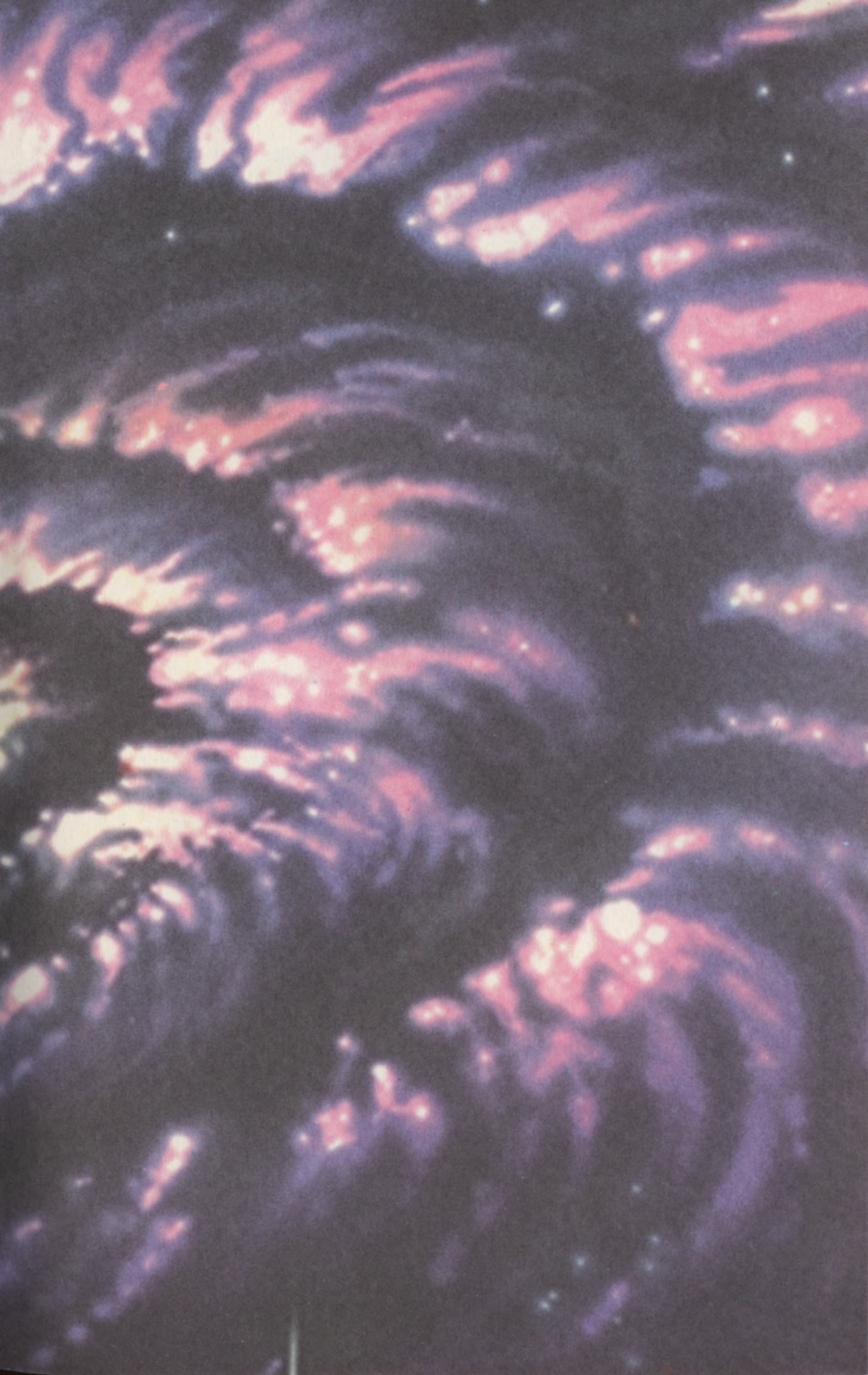
2

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ



ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ
СОЛНЦА





РЭЙ БРЭДБЕРИ



WORLDS OF RAY BRADBURY

Volume two

**FARENGHEIT 451
THE GOLDEN APPLES
OF THE SUN**

«POLARIS» PUBLISHERS
1997

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Том второй

**451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ
ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ
СОЛНЦА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997

**Миры Рэя Брэдбери. Т. 2 / Пер. с англ. — Полярис,
1997. — 335 с.**

Во второй том собрания сочинений прославленного американского писателя, внесшего одинаково большой вклад как в научную фантастику, так и в жанр «магического реализма», вошли его классические произведения — романы «451° по Фаренгейту» и рассказы из сборника «Золотые яблоки Солнца».

Произведения, включенные в данное издание, охраняются законом об авторском праве. Перепечатка отдельных романов и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя и переводчика. Всякое коммерческое использование данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издателя.

*В оформлении обложки использована работа,
предоставленная агентством Fort Ross Inc., New York*

Farengheit 451

© 1953 by Ray Bradbury

The Golden Apples of the Sun

© 1952 by Ray Bradbury

© J. McLeod, *иллюстрация на обложку*

451° по Фаренгейту

© Т Шинкарь, *перевод*, 1983

© Издательство «Полярис»,
*составление, оформление,
название серии*, 1997

ISBN 5-88132-263-0



451°
ПО ФАРЕНГЕЙТУ

**451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ — ТЕМПЕРАТУРА,
ПРИ КОТОРОЙ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ
И ГОРИТ БУМАГА**

*Если тебе дадут линованную бумагу,
пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес*

Часть I

ОЧАГ И САЛАМАНДРА

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб, глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом; они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь.

Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку,

с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше чем выйти на угол он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог взглядеться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром

и листвою. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовой белизны лицо светилось ласковым, неуголимимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье: оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неувимый для слуха звук — светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и ее темные, лучистые, живые глаза вдруг засияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как замороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? — Голос ее замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он все равно что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивленно спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек...

В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнувшим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.

Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся:

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были несгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая ее. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зеленое пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я еще кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча; она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укориженные взгляды.

Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чем же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взгляделась в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было, она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза.

Какая странная ночь и какая странная встреча! Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце.

— В чем дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудака, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачесется глаз, она моргнет, если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намек на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье, как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами оmyвает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обре-

ценностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ошупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога ударилась о предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу.

Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в крошечном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька; два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Ее лицо было как остров, покрытый снегом: если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя; если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Неподвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль черного холста. Монтэга словно раскололо надвое, словно ему рассекли грудь и

разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь оскаленные зубы. Дом сотрясаясь. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Он почувствовал, как его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шепот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шепеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарила там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур глубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. —

Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдастся, просто перестает работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили; дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке.

— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — сигарета подпрыгнула на губах санитаря. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты; протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

«Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видал».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память! Если бы можно было самую ее душу отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, пустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как все изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, ее отец и мать и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая в магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите».

Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, ооченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную ко-

манду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета футболках они выйдут на поле?

Монтэг побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна, другая, третья, четвертая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвертая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И все кружится, несется, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему.

— Вчера вечером... — опять начал он.

Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело: мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизиорной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было во флаконе.

— Ну да? — удивленно воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я это сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — все, что было во флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начнется через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — Она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на нее.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чем говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень-очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Треть моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвертую стену, эта комната была бы уже не только нашей. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, ее поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нем задумчивый взгляд. — Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я еще не дочитала до конца.

Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась:

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Еще что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождем.

— Мне бы не понравилось, — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если б попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать, — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потерять под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на ее подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Желтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблен.

— Но этого не видно.

— Я влюблен, очень влюблен. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблен, — упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — Она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам, и одна его половина была горячей, как огонь, а другая холодной, как лед, одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой, как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо под дождь, на мгновение открыл рот...

Механический пес спал и в то же время бодрствовал; жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрах этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую

пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, — пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и нескольких метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве массивную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит ее лицо все в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пес заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.

— Но-но, старик, — прошептал Монтэг; сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлен на Монтэга.

Монтэг попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть; его многогранные глаза — кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошел от люка; он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался, наконец, и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пес? — Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто «функционирует». Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и все, что в нем есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить «память» механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его «память» ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра все проверим. Бросьте об этом думать.

Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..

Брандмейстер подошел к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чем думает пес по ночам в своей конуре? Что он, правда, оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно.

— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул:

— Экой вздор! Наш пес — это прекрасный образец того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда; вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке — она вязала синий свитер; три или четыре раза он находил на крыльце

своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и теплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — Он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь, правда, подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу.

Она подняла на него свои лучистые темные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь.

— Да?

— Да. Более непринужденно.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце.

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того чтобы учиться?

— Ну, в школе по мне не скучают, — ответила девушка. — Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно! Потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами. — Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. — Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах, — а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих, или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают, как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была

маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

Но больше всего, — сказала она, — я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, все в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чем. Сыплут названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют: «Как шикарно!» Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые острофы или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь все это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людям.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо как птичка взлетаете по этому шесту. Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит?

— Нет-нет.

Четвертый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сизэттле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе; подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что, если пройдет еще раз, Кларисса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: «...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвертого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут...» Шлепанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. «...Час сорок пять минут...» Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза.

Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала черное предрассветное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтэгу, вскрыет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чем же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров; их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа, брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по наклонностям, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти; их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящих трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встает брандмейстер Битти. Берет новую пачку табака, открывает ее — целлофановая обертка рвется с треском, напоминаящим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашенный.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— Но если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струей керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это еще что за слова?

«Глупец, что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя». На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочел первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома еще не были несгораемыми... — и вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он; он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклееллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице:

«Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

П р а в и л о

1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.
2. Быстро разжигай огонь.
3. Сжигай все дотла.
4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.
5. Будь готов к новым сигналам тревоги».

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотился, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон.

Монтэг встал со стула и, словно во сне, спустился вниз по лестнице.

Механический пес встрепнулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелеными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор еще раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли:

— «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда».

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму:

«Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-стрит».

Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э.Б.».

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натываясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Все равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Она не должна была быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным

железом: «И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем». Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смиренно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальновзоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздвогнув, он обернулся.

— Что вы там встали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тисненых заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шел сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг, — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти

целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который все еще стоял возле женщины.

— Нельзя же бросить ее здесь! — возмущенно крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо ее заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдемте со мной.

— Нет, — сказала она. — Но вам — спасибо!

— Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три. Четыре...

— Ну, прошу вас! — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь, — тихо ответила она.

— Пять. Шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка.

Обыкновенная спичка.

Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

«Господи, — подумал Монтэг, — а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар красивое, эффектное зрелище?»

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина.

Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролежала темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их.

Битти щелкнул зажигалкой.

Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса.

Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила.

Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперед, на дорогу. Мощная Саламандра круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнес Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала «Ридли». Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: «Будьте мужественны, Ридли». И еще что-то... Что-то еще...

— «Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумленно взглянули на брандмейстера. Битти задумчиво потер подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины.

— Я начинен цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Черт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

После небольшой паузы жена наконец сказала:

- Зажги свет.
- Мне не нужен свет.
- Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели; жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот, значит, как это вышло! Во всем виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — потянулись к застёжке, стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой; скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично на что, глядеть на все...

— Что ты там делаешь? — спросила жена.

Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах.

Через минуту жена снова сказала:

— Ну! Долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена.

Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную, как лед, подушку и тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки...

Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной.

Позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у Милдред

опять были «Ракушки», и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Мон-тэгу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашепывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нашепывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — Она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно.

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. — Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретила со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй, что и не имеет, — сказал он.

Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотишь и сама не заметишь?» Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь, — неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что, если она умрет, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете... И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек и рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

«Откуда эта опустошенность? — спросил он себя. — Почему все, что было в тебе, ушло и осталась одна пустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик!» Он подвел итог: «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены». Почему же он не влюблен?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их «родственниками»: «Как поживает дядюшка Льюис?» — «Кто?» — «А тетушка Мод?»

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них еще пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей «говорящей» гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред:

«Надо что-то сделать!»

«Да, да, это необходимо!»

«Так чего же мы стоим и ничего не делаем?»

«Ну давайте делать!»

«Я так зла, что готова плевать!»

О чем они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди, и сам увидишь», — говорила Милдред.

Он сядил и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто...

Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса «родственников»:

«Теперь все будет хорошо», — говорила тетушка.

«Ну, это еще как сказать», — отвечал двоюродный братец.

«Пожалуйста, не злись».

«Кто злится?»

«Ты».

«Я?»

«Да. Прямо бесишься».

«Почему ты так решила?»

«Потому».

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Что они, муж с женой? Жених с невестой? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым, по мечте Милдред, скоро должна была прибавиться четвертая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До пятидесяти пяти! Сбавь скорость!» — «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!» — орал он. И она, вместо того чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были «Ракушки». Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели.

Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред:

— Милдред! Милдред!

— Да, — еле слышно ответил ее голос из темноты.

Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.

— А, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видала?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.

— Я так и думал, что ты ее знаешь.

— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.

— Что она? — спросил Монтэг.

— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...

— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?

— Ее, кажется, уже нет.

— Как так — нет?

— Вся семья уехала куда-то. Но ее совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.

— Нет. О ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.

— Ты уверена?..

— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.

— Почему ты раньше мне не сказала?

— Забыла.

— Четыре дня назад!

— Я совсем забыла.

— Четыре дня, — еще раз тихо повторил он.

Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи, — сказала наконец жена.

Он услышал легкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался — его жена тихонько напевала.

За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил еще какой-то странный звук: словно кто-то дохнул на окно. Словно что-то похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

«Механический пес, — подумал Монтэг. — Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...»

Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспаленные глаза.

— Да, болен.

— Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили «родственники».

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю — сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас «родственники»!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый стакан с водой.

— Ах! — Она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донесся из ванной ее голос.

— Что же ты делала?

— Смотрела передачу.

— Что передавали?

— Программу.

— Какую?

— Очень хорошую.

— Кто играл?

— Да, ну там вообще — вся труппа.

— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг Бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивленно воскликнула она.

Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковер можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рева.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила бренд-мейстеру Битти? А почему не ты сам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Потому что боюсь, — подумал он. — Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить, потому что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: “Да, бренд-мейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе”.

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред.

Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты ее видела, Милли...

— Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книг! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдет на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может быть, даже нормальней нас с тобой. И мы ее сожгли.

— Это все пройдет и забудется.

— Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он глест несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошел.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он. — Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене, — сказала Милдред. — Тебе полагалось уйти еще два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины, — продолжал Монтэг. — Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и — пуф! — за две минуты все обращено в пепел.

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе, — два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и еще как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне все равно.

— Машина марки «Феникс» и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажи. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормotal: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли». Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти.

— Выключите-ка «родственников», — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, проведать больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые, как сахар, зубы.

— Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночь попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку, зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Пфф... — Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. — Снова пфф!.. — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заерзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как все это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, — кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел на постели.

— А раз все стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. — Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть

разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг.

Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять—двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук, — так вот, немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей». Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на нее внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите пленку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик!* Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлеп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика! Одна колонка, две фразы, заголовки! И через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в

* Click, Pic, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. (Здесь и далее примеч пер.)

бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормозит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: «Что это?» — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и, наконец, эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Все визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дергая подушку.

— Да оставь же меня, наконец, в покое! — в отчаянии воскликнул Монтэг.

Битти удивленно поднял брови.

Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ощупывали переплет книги, и, по мере того как она начала понимать, что это такое, лицо ее стало менять выражение — сперва любопытство, потом изумление... Губы ее раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски,

как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на ее руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. — Не видишь — мы разговариваем?

Битти продолжал как ни в чем не бывало:

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Бильярд, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений, пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, — и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной «тетушки» захохотали над «дядюшками».

— Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, — не

дай Бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащенные помои. Так, по крайней мере, утверждали критики, эти заносчивые снобы. Не удивительно, говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания.

— Но при чем тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели как истуканы и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всем мире стали строить из нескораемых материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом,

Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это — вы, Монтэг, и это — я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. Позади нее на стенах гостиной шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов тамтама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет.

— Цветным не нравится книга «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг; спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в «большую трубу». Крематории обслуживаются геликоптерами. Через десять минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплаки-

вать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевел дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся:

— Время от времени случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклееллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудачков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытаются привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхаживаем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклеелланах, еще когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание, в этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать — почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и, если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, — это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или

кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай Бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведет к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить Вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня потрянуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтэг, запомните — мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях.

— Еще одно напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство.

Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так еще хуже: один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдет.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесет с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно. — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и все, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось легкое удивление. Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Попозже.

— Жаль, если сегодня не придете, — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

«Я никогда больше не приду», — подумал Монтэг.

— Ну поправляйтесь, — сказал Битти. — Выздоровляйте. — И, повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своем сверкающем огненно-желтом с черными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да. «Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому

что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит...» Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену; она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтэг», — говорил диктор — и еще какие-то слова. «Миссис Монтэг» — и еще что-то. Специальный прибор, обошедший им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу, и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

«Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда».

Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушала.

Монтэг сказал:

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдешь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я еще не решил. Пока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется все ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай проветриться.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, только побыстрее. Доведешь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты и не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса кролик попадет, а то собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О черт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не

знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое держал в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму. — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена.

Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и пусть. Может, так и надо, посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорил? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива, — рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору.

Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это не подумав. А теперь, похоже, мы с тобой оба запутались в этой истории.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие,

широко раскрытые глаза. Она повторяла его имя еще и еще раз, затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил ее. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!.. — Он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он. — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжем их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжем! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответ на вопрос, что ему делать.

— Хочешь не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны наконец разобраться, почему все так получилось — ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, черт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день, два. Вот все, о чем я тебя прошу, — и на том все кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупинка разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела ее лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю! Почему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции, и вдруг понял, что ненавижу их, нена-

вижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли». Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть! Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: «...к вам пришли».

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво снова прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнем? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. — Думаю, надо начать с начала...

— Он войдет, — сказала Милдред, — и сожжет нас вместе с книгами.

Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чье-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десяток страниц, беспорядочно выхватывая одну тут, другую там, пока наконец не остановился на следующих строках:

«Установлено, что за все это время не меньше одиннадцати тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца».

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнем опять. Начнем с самого начала.

СИТО И ПЕСОК

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

«Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край; так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце».

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять ее.

— Она же умерла. Ради Бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену, Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу:

— «Наша излюбленная тема: о Себе». — Прищурившись, он поглядел на стену. — «Наша излюбленная тема: о Себе».

— Вот это мне понятно, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех,

кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождем, кто-то тихо заскребся в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?..

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара.

Милдред рассмеялась:

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать ее?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим, — спокойно сказал Монтэг.

Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот «родственники» — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх.

— Он может прийти сюда, сжечь дом, «родственников», все! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это! Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Прошлой ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего на свете! Она была мертвая и вместе с тем живая. У нее был глаз, но она не видела. Хочешь посмотреть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, прочитаешь их запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать: «Гай Монтэг», или «Страх», или «Война»? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в

пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где ее теперь искать? В море? Вот слушай!

Над домом проносились бомбардировщики, один за другим, проносились с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи Боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всем мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок! Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

«Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» — Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

«Бедная Милли, — думал он. — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?»

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год тому назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло все, что произошло в тот день: зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме; при виде Монтэга он быстро что-то спрятал в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чем не виноват! — воскликнул старик дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чем-нибудь виноваты, — ответил Монтэг.

Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отсветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка; он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последним колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и, когда наконец его страх перед Монтэгом прошел, он стал словоохотлив: он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о самих вещах, сэр, — говорил Фабер. — Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивленно ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стеной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящие расследования(?)». Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и наконец в

трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр Библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного! Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять все сначала!..

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же ее вернуть? Ведь брендмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задергались губы.

— Ну подумай, что ты делаешь! Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или Библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал ее. Он слышал голос Битти.

«Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берем страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключенные

в словах, все лживые обещания, поддержанные мысли, отжившую философию!»

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на нее внимания.

— Остается одно, — сказал он. — До того как наступит вечер и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию.

— Ты будешь дома, когда начнется программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои «родственники» любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы?

Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слез.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог.

Дождь перестал; на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было; улица и лужайка были пусты. Вдох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

«Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?»

Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки,

они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без нее я как потерянный».

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота — изразцы и чернота, цифры и снова чернота, все несло мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь десять центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный июльский день, и слезы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтэг, должен это сделать, я заставляю себя это сделать!»

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры:

— Зубная паста Денгэм!..

«Замолчи, — думал Монтэг. — Посмотрите на лилии, как они растут...»

— Зубная паста Денгэм!

«Они не трудятся...»

— Зубная паста...

«Посмотрите на лилии... Замолчи, да замолчи же!..»

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денгэм. По буквам: Д-е-н...

«Не трудятся, не прядут...»

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— Денгэм освежает!..

«Посмотрите на лилии, лилии, лилии...»

— Зубной эликсир Денгэм!

— Замолчите, замолчите, замолчите!.. — Эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу; все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир — раз два, раз два, раз два три, раз два, раз два, раз два три; все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста...»

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга тонну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились; оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей.

— Лилии полевые...

— Денгэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Позовите кондуктора.

— Человек сошел с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— Денгэм, — шепотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтэг рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе и

воздух обжигает горло. Вслед ему неся рев: «Денгэм, Денгэм, Денгэм!!»

Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно отворилась; выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы, и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился; теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным. — Глаза Фабера были прикованы к книге. — Значит, это правда?

Монтэг вошел. Дверь захлопнулась.

— Присядьте. — Фабер пытался, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню, и там — стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл ее.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу:

— Вы смелый человек.

— Нет, — сказал Монтэг. — Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге:

— Можно?..

— Ах да! Простите. — Монтэг протянул ему книгу.

— Сколько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор... — Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. — Все та же, та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню! А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из «родственников». Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего сына? Мы так его разодели. Или, лучше сказать, — раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какой-то пряностью из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда наконец придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл Библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это

книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиних. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио- и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки Вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трех вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более «художественна» книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам.

Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности.

Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но когда Геракл оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас, вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью сто миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это «реальность». Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!»

— Только «родственники» — живые люди.

— Простите, что вы сказали?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой «реальностью», как телевизор.

— И слава Богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди». Вы ее властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже «среда», такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денгэм, Денгэм, зубная паста... «Они не трудятся, не прядут», — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу:

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить самую систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: браво!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверное, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни столько друзей. Все, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, и если утонете по дороге, так хоть будете знать, что плыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьезно — насчет пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего не скажешь. — Фабер нервно покосился на дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень стары.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу

и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но это все капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертисмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные «родственники»? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг друга?

Пока они говорили, над домом пронеслись эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: «А я еще помню Софокла»? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже все равно?

— Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи, спокойной ночи.

Руки Монтэга протянулись к Библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил, как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в ладони.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него:

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу

— Эта книга... Не рвите ее!

Фабер опустил на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не заставляйте меня чувствовать еще большую усталость. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нила, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, как будто прекрасная статуя из льда тает у тебя на глазах под палящими

лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их восстановить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти «родственники», обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот.

Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, черт! Стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти! Он много читал, у него на все есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: черт возьми, до чего же здорово!

Старик кивнул головой:

— Кто не создает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил двери спальни. Следом за ним Монтэг вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный

инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Моя трусость и мятежный дух, обитающий где-то в ее тени, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника, или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похож на радиоприемник «Ракушку».

— Но это больше чем приемник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду как пчелиная матка, сидящая в своем улье. А вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся:

— Я вас тоже хорошо слышу! — Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтэга.

— Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта; мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает, что может, — ответил Монтэг. Он вложил Библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдалить что-нибудь другое вместо нее. А завтра...

— Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хотя это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадобится. И все же дай вам Бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на темной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шел от станции метро; деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, — его обслуживали механические роботы). Он шел и, вставив «Ракушку» в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена... — Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал голос Фабера в другом ухе. — Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте. — Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. — Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шел по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудо-вищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной.

Дожевывая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг, — предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался, — почти про себя сказал Монтэг. — Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревию, не правда ли? — сказала Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

«Как это она ухитряется?» — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета; потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетели человеческие тела.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнется война? — спросил Монтэг. — Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят, — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. — Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да, — подхватила Милли. — Пусть себе Пит тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним, как на молитве, и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Все равно как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил, наконец, недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его

лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжкий сон без сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ошутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута — и они, громко зашипев, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорил — кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены — и все. Как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не придет меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава Богу, я еще могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Монтэг не уходит, хлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избравшихся в президенты.

— О да! А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как, и причесан плохо.

— И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Черт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете, ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем! Мы их обоих видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один все время ковырял в носу. Ужас что такое! Смотреть было противно.

— И по-вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери!

Но Монтэг уже исчез, через минуту он вернулся с книгой в руках.

— Гай!

— К черту все! К черту! К черту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там, к черту, теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — Голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы все погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг.

Они послушно сели.

— Я ухожу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради Бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки. — Миссис Фелпс кивнула головой. — Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухе мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что свету не вздыбят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье,

как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать нам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите «да», Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете, ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— «Берег Дувра».

Язык Монтэга прилипал к гортани.

— Ну читай же погромче и не торопись.

В комнате нечем было дышать. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула посередине и он, нетвердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан

Когда-то полон был и, брег земли обвив,

Как пояс радужный, в спокойствии лежал.

Но нынче слышу я

Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив,

Гонимый сквозь туман

Порывом бурь, разбитый о края

Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать:

Дозволь нам, о любовь,

Друг другу верным быть.

Ведь этот мир, что рос

Пред нами, как страна исполнившихся грез, —
Так многолик, прекрасен он и нов, —
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания,
И в нем мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей*.

Миссис Фелпс рыдала.

Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясен и обескуражен.

— Тише, тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это-то я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злой!

— Ну а теперь... — шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошел к камину и сунул книгу сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс. — Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно еще мучить человека такой чепухой.

— Клара, успокойся! — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. — Прошу тебя, перестань! Мы включим «родственников», будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку.

— Нет, — промолвила миссис Бауэлс, — я уйду. Если захотите навестить меня и моих «родственников», милости просим в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника, ноги моей больше не будет.

* Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд.
(Перевод И. Оныщук.)

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. — Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже разmozжит себе голову! Идите домой и подумайте о тех десятках абортoв, что вы себе сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он. — Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул вас за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег.

Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О Боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зеленую пулю и сунул ее в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашел наконец книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама уже начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал?

Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тишине этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему

уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нем заключены два человека: во-первых, он сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи — и темные, и озаренные ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его наконец переполнится, и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух вещей, столь отличных одна от другой, создается новая, третья. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, веселый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу: вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете

с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизнь такой, как она есть, — закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идемте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделенные глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке, я тоже буду слушать и все примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая Саламандра дремала, наполнив брюхо керосином; на ее боках, закрепленные крест-накрест, отдыхали огнеметы. Монтэг прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало

бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — вот идет любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзину и закурил сигарету.

— «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума». Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уже никогда не удастся вернуть их к жизни; они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгагранными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил в уборную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то чтобы мы вам не доверяли, но, знаете ли, все-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж, — сказал Битти. — Кризис миновал, и все опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в свое время заблуждаться. Правда всегда будет правдой, кричали мы. Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. «О мудрость, скрытая в живых созвучьях», — как сказал сэр Филип Сидней. Но, с другой стороны: «Слова листве подобны, и где она

густа, там вряд ли плод таится под сению листа», — сказал Александр Поп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно, — шептал Фабер из другого далекого мира.

— Или вот еще: «Опасно мало знать; о том не забывая, кастальскою струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна, и снова обрящешь светлый разум». Поп, те же «Опыт». Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню, — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. — Вы, ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать Вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это.

— Нет, я ничего, — ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали гром и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знания сильнее власти». А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность». Держитесь пожарников, Монтэг. Все остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: «Правда рано или поздно выйдет на свет Божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О Господи, он все про своего коня!» А еще я сказал: «И черт умеет иной раз сослаться на Священное писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!» Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь ярая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!» Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных

слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», — как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Замолчите! Вы стараетесь все запутать. Довольно!»

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Поговорим еще? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка. — Он мутит воду!

— Ох, как вы испугались, — продолжал Битти. — Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддерживают, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: «Нам не по пути?» Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание; страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели наконец вихри пыли, взметенные в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным решением, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не

забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой кверху: вернемся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и ревом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе Саламандры, словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту; ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книгу. Все равно что пытаться погасить пожар из водяного

пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не сумел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, по-настоящему спокоен?

— Вперед, вперед!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона; полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру.

— Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг!

Розовые, словно флуоресцирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

Саламандра круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтэг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

«Я не могу сделать это, — думал он. — Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом».

Битти — от него еще пахло ветром, сквозь который они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбежались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся. Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнес Монтэг. — Мы же оставились у моего дома?

ОГОНЬ ГОРИТ ЯРКО

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало; он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Все записано в ее карточке. Эге! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло Саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову: вправо — влево, вправо — влево...

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того ни с сего

чувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Крассуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась; по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в заостеневшей руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои «родственники», бедняжки, бедняжки! Все погибло, все, все теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся в холодную черную преграду.

— Монтэг, это я, Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть, вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени.

— Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? — Битти

погасил и снова зажег маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печку ее. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично. Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу — книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться, — просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты.

Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред...

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пес! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пес где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям; они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить, он сжег стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он

жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-«Ракушка».

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает все!

— Монтэг, книги!

Книги подсказывали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями.

Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища, с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась Монтэгу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом, он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Было половина четвертого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках; темные пятна пота расплзались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники; их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул:

— А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны

декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочесть несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой Вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели, вы по горло увязли в трясине, стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сровняли его дом с землей; там, под обломками, была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая; колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он уже был далеко, он уже убегал прочь, оставив этому безумствующему маньяку свое бездыханное, измазанное сажей тело.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху.

Монтэг слышал далекий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах «Ракушка», но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемёта. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же, в конце концов, толкнуло его на убийство: сами ли руки, или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокошующие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

На лице Битти расцвела обаятельная улыбка:

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден». Так, что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас дери! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперед.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемёт, Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемёта. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту, что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку, и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемёт.

— Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной; пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса.

Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма.

Пес сделал прыжок — он взвился в воздух фута на три выше головы Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком,

вокруг металлического тела зверя завились желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнеметом футов на десять в сторону, к подножию дерева; Монтэг почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватаят его за ногу, вонзает иглу, — и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло ее металлические кости из суставов, распорол ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета.

Монтэг лежа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены в мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, еще дальше — двое пожарных и Саламандра... Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить...

«Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги! Осторожно, осторожно... вот так!»

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, припрыгивая, он пробирався среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил — иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходявшего в глухой переулок.

«Битти, — думал он, — теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: “Незачем решать проблему, лучше сжечь ее”. Ну вот я сделал и то и другое. Прощайте, бренд-мейстер».

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержаться и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостинной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы еще спасем то, что осталось, мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашел книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие Саламандры, рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти хотел умереть!

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял перед Монтэгом, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!»

Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

«Вставай! — сказал он себе. — Вставай, черт тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка, в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь куча костей, опутанных спекшимися сухожилиями.

Запомни: их надо жечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио-«Ракушку», по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарник. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы; залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить.

«Ракушка» жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился обратно в тень. Прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафеля. Два серебристых жука-автомобили остановились возле нее, чтобы заправиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь... Путь куда?

Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время он инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его; даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Все равно он должен повидаться с Фабером хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много: казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать, продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: «Война объявлена». Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымянных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля.

Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги, как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь.

Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но все равно, пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать—сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: он слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и наконец осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг замешкался на мгновение. Потом крепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Все равно, спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и все.

Машина мчалась, машина редела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась, как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперед, вперед, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и

снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль неся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рев, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал.

Я погиб! Все кончено!

Но падение спасло его. За секунду до того как наскочить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее, на самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диковинка в наши дни! — и решили: «А ну, сшибем его!» — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот—шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и была для них острота таких прогулок.

«Они хотели убить меня», — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. «Да, они хотели убить меня, просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают».

Монтэг побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из руки в

руку, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слезы застилали ему глаза.

Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая этим все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в темном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или то было лишь минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез; взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружен в молчание.

Монтэг подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного входа, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

«Миссис Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям».

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулочек. Он оглянулся: погруженный в темноту и молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились геликоптеры. По пути Монтэг зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены и Саламандры с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец спустя минуту слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрасветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вел себя как дурак с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я уйду, одному Богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела, — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета.

Фабер опустил на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла; я считал — она мне жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О Господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хотя в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что наконец делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. — Вот возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Воспользуйтесь ими для дела.

Фабер кивнул головой:

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение теперь ведется по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих углах, еще можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского

университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провел Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнес телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пес.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не помешает.

Они выпили.

— ...Обоняние механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь

оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно ему внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой, — их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупинцы его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пес будет высажен с геликоптера у места пожара!

На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающийся с неба геликоптер, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения, как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне, — думал он, — ах ты Господи, ведь это все обо мне!»

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удовольствием проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным, широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объётому пламенем дому мистера и миссис Блэк и наконец сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все

говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваается в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад разбуженных истошным воплем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать это редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он, Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту! Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! Где ему найти такое слово, таких несколько последних слов, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолета плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемёт и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щелканье, легкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана:

— Пора. Я очень сожалею, что так все вышло.

— Сожалеете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради Бога, идите! Может быть, мне удастся задержать их...

— Постойте. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половики в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю вашу поливную установку в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт, это было бы очень хорошо и для вас и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Еще одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье — старый костюм, чем заношенной, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера, — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв виски, Монтэг обрызгал поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне еще пригодится. О Господи, надеюсь, наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, приносясь к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пес вошел в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя пред-рассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье, или, может быть, это только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

...Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колыхнется трава, не хлопают

ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитах тротуара. Своим бегом Механический пес не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, все время ощущал гнет этой тишины. Наконец он стал невыносимым. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неоновых пар, то появлялся, то исчезал Механический пес, мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

«Беги, — говорил себе Монтэг, — не останавливайся, не мешкай!»

Экран показывал уже дом Фабера; поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая.

Нет! Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

Монтэгу стало трудно дышать, теснило в груди, словно туда засунули сжатый кулак.

Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои

объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо «Ракушку»:

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный человек, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть по счету десять. Начинаем. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее! Левой, правой!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек.

С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону к темной движущейся массе воды

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба; бледные, испуган-

ные, они прячутся за занавесками; как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами; серые мысли в окоченевшей плоти.

Но Монтэг уже был у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног; течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ярдов триста по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры вертолетов. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, вертолеты повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Осталась лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, все дальше от города и его огней, все дальше от погони, ото всего.

Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Темные берега скользили мимо; река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна; она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время

обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю его жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтэга и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведенных на этой реке, он понял, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Все сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в граммофонных пластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок закрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела; зеленые холмы и леса ждали Монтэга.

Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами helicopters.

Но по равнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: “Замолчи! Замолчи!” Милли, Милли». Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды еще совсем ребенком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Прележать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо запомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху, в своей залитом лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своем надежном убежище на

сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не смыкал глаз и всю ночь на губах его играла улыбка; теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужило для него самым лучшим отдыхом. А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой.

У подножия лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это все, что ему теперь нужно. Знак, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из воды.

Берег надвинулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, ледящим мокрое тело ветром, — все это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело; голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!); она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок соленожгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него. Словно лес глядел на него.

Механический пес!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, вдруг перед тобой...

Механический пес!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника; в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды; ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля; так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, как будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтэг поднес пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брел, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса.

Он двинулся вперед по шпалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — он мигал вдали словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте; казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти поближе; он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое; странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он согревал.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой.

Бог весть сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и, если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплему потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он услышал голоса; люди говорили, но он не мог еще разобрать, о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не

спеша разглядывали его; они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладно, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос, — милости просим к нам.

Монтэг медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главный, — хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как темная, дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку; потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг пил кофе.

— Благодарю, — сказал он. — Благодарю вас от души.

— Добро пожаловать, Монтэг. Меня зовут Грэнджер. — Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. — Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно, — сказал Грэнджер.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и подумали, что вы спуститесь по реке на юг, и, когда потом слышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались,

как обычно делаем. Когда вертолеты вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экране замелькали краски, с жужжанием заматались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредотачиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм-Гроув-парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдет и пяти минут, как они поймут Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера! Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудачков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О Господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперед.

На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пес. Вертолеты направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал прыжок — ритм, точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину — недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени.

— Монтэг, не двигайтесь! — произнес голос с неба.

В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора:

— Поиски окончены. Монтэг мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано.

Темнота.

— Теперь мы переносим вас в «Зал под крышей» отеля «Люкс». Получасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намек — воображение зрителя дополнит остальное. О черт, — прошептал он.

Монтэг молчал; повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана.

Грэнджер легонько коснулся его плеча.

— Приветствуем воскресшего из мертвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском

университете; это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассет*; вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял всех своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил наконец Монтэг. — Всю жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это неплохо. Где вы хранили его?

— Здесь. — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо, — будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я все забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

* Видный испанский писатель и философ XX века.

— Я уже пытался вспомнить.

— Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть «Республику» Платона?

— О да, конечно!

— Ну вот, я — это «Республика» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок*, Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Гранджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. О чем вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания,

* Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

которые нам еще будут нужны, сберечь их в целости и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Много, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо «Уолден»* живет в Грин Ривер, глава вторая — в Уиллоу Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли

* «Уолден, или Жизнь в лесах» — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Дэвида Торо.

туда станут бросать бомбы; в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы, — столько-то страниц в голове у каждого из его обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать; созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гадили огонь.

...При свете звезд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошел. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он.

Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудачков с головами, напичканными поэзией, — это им не опасно; они это знают, знаем и мы; все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует еще Хартию вольностей и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потренили.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, уверенности в будущем. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не видел на их лицах. Там, у костра, их озарял отблеск горящих сучьев, а

сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проводивших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное; и вот наконец, уже стариками, они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем, они ни в чем не были уверены, кроме одного — они видели книги, стоящие на полках, книги с еще неразрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

...Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолеты; они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город; сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую о ней. Странно, но я как будто не способен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал — если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку; он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был еще мальчиком, умер мой дед; он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки, за свою жизнь он, наверно, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет; дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории —

никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и, когда он умер, все это ушло из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шел молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что дал ты городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: «Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом, или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». Мой дед говорил: «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. — Первый пройдет, как его и не бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2, — продолжал он. — Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это все равно что булавочный укол. Мой дед раз десять провертел этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу:

— Дед мой умер много лет тому назад, но, если вы откроете мою черепную коробку и взглянете в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво, — сказал он мне однажды. — Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — тако-го зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьянеленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту! — говорил он. — Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю!»

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг.

В это мгновение началась и окончилась война.

Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас с ужасающей быст-

ротой, и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета; и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорожных воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был один-единственный мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом; он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне, погибни. Умри.

На какое-то мгновение Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите!» — кричал он Фаберу. «Бегите!» — кричал он Клариссе. «Беги, беги!» — взывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город; где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило; оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще пятьдесят ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора.

А Милдред?..

Беги, беги!

В какую-то долю секунды, пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых, не умолкая, говорили с ней «родственники». Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее

головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может, — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившись плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало; он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз, на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино, водяным смерчем прошла по реке, взметнула черный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их, и в это мгновение увидел, что город поднялся в воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесков разорванного в клочки

металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергнуться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг он вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Экклезиаст! Да, это главы из Экклезиаста и Откровения. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, еще вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денгэм не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и все, — произнес кто-то.

Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носа.

Монтэг лежа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли; вместе с ним великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире: Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам? И теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется

наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь; мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все! И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим «я». Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках; сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих.

Еще какое-то время Монтэг и остальные лежали в полубытьи, на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь.

Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятия, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет, — промолвил он после долгого молчания. — Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез. — Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот наконец костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко

склоняясь над огнем. Солнце коснулось лучами их затылков.

Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за этим ритуалом.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс, — сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой родней человеку. Но, сгорев, она всякий раз вновь возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем и все это записано и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остыть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду.

— Теперь мы пойдем вверх по реке, — сказал Грэнджер. — И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в

ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошел вперед. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдет, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошел здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти все утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чем подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что еще? Есть еще что-то, еще что-то, что надо сказать...

«...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой; и листья древа — для исцеления народов».

Да, думал Монтэг, и вот что я скажу им в полдень. В полдень...

Когда мы подойдем к городу.



**ЗОЛОТЫЕ
ЯБЛОКИ СОЛНЦА**

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

РЕВУН

Среди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы — Макдан и я — смазывали латунные подшипники и включали фонарь на верху каменной башни. Макдан и я, две птицы в сумрачном небе...

Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос — могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.

— Здесь одиноко, но я надеюсь, ты уже свыкся? — спросил Макдан.

— Да, — ответил я. — Слава Богу, ты мастер рассказывать.

— Завтра твой черед ехать на Большую землю. — Он улыбался. — Будешь танцевать с девушками, пить джин.

— Скажи, Макдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один?

— О тайнах моря. — Макдан раскурил трубку.

Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер, отопление включено, фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, в длинной башенной глотке ревет Ревун. На берегу на сто миль ни одного селения, только дорога с редкими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край, потом две мили холодной воды до нашего утеса и в кои-то веки далекое судно.

— Тайны моря, — задумчиво сказал Макдан. — Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете? Вечно в движении, тысячи красок и форм,

и никогда не повторяется. Удивительно! Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один и тут из глубин поднялись рыбы, все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив, здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь, красный — белый, красный — белый свет над ними, и я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост. И вдруг — без звука — исчезли, все эти миллионы рыб сгнули. Не знаю, может быть, они плыли сюда на паломничество? Удивительно! А только подумай сам, как им представлялась наша башня: высится над водой на семьдесят футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались, но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством?

У меня по спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающийся в ничто и в никуда.

— Да-да, в море чего только нет... — Макдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. Весь этот день его что-то тревожило, он не говорил, что именно. — Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще десять тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства, придем в затонувший мир и узнаем *настоящий* страх. Подумать только: там, внизу, все еще 300 000-й год до нашей эры! Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга земли, отхватываем друг другу головы, а они живут в холодной пучине, двенадцать миль под водой, во времена столь же древние, как хвост кометы.

— Верно, там древний мир.

— Пошли. Мне нужно тебе кое-что сказать, сейчас самое время.

Мы отсчитали ногами восемьдесят ступенек, разговаривая, не спеша. Наверху Макдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа, на смазанной оси. И неустанно каждые пятнадцать секунд гудел Ревун.

— Правда, совсем как зверь? — Макдан кивнул своим мыслям. — Большой одинокий зверь воет в ночи. Сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в пучину: «Я здесь, я здесь, я здесь...» И пучина отвечает — да-да, отвечает! Ты здесь уже три месяца, Джонни, пора тебя подготовить. Понимаешь, — он всмотрелся в мрак и туман, — в это время года к маяку приходит гость.

— Стаи рыб, о которых ты говорил?

— Нет, не рыбы, нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся — сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя: если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей — увидишь сам. Вот, сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер, отправляйся на Большую землю, забирай свою машину возле пристани на мысу, кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам — я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторялось уже три года, и впервые я не один — будет кому подтверждать. А теперь жди и смотри.

Прошло полчаса, мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать, и Макдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет Ревуна.

— Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, внимая гулу океана, и сказал: «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, какие когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда открываешь дверь, как голые осенние деревья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очаги покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: “Хорошо, что мы дома”. Я сотворю голос и механизм, и нарекут его Ревуном, и всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни».

Ревун заревел.

— Я придумал эту историю, — тихо сказал Макдан, — чтобы объяснить, почему *оно* каждый год плывет к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка...

— Но... — заговорил я.

— Шшш! — перебил меня Макдан. — Смотри!

Он кивнул туда, где простерлось море.

Что-то плыло к маяку.

Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная, в высокой башне было холодно, свет вспыхивал и гас, и Ревун все кричал, кричал сквозь клубящийся туман. Видно было плохо

и только на небольшое расстояние, но так или иначе вот море — море, скользящее по ночной земле, плоское, тихое, цвета серого ила, вот мы, двое, одни в высокой башне, а там, вдали сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены. И вдруг над холодной гладью — голова, большая темная голова с огромными глазами, и шея. А затем... нет, не тело, а опять шея, и еще, и еще! На сорок футов поднялась над водой голова на красивой тонкой темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного коралла, мидий и раков. Дернулся гибкий хвост. Длина туловища от головы до кончика хвоста была, как мне кажется, футов девяносто—сто.

Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то.

— Спокойно, парень, спокойно, — прошептал Макдан.

— Это невозможно! — воскликнул я.

— Ошибаешься, Джонни, это *мы* невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменялось. Это *мы* и весь здешний край изменились, стали невозможными. *Мы!*

Медленно, величественно плыло оно в ледяной воде там, вдали. Рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч, красный — белый, красный — белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шифром. Чудовище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло.

— Это какой-то динозавр! — Я присел и схватился за перила.

— Да, из их породы.

— Но ведь они вымерли!

— Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, в глубь глубин, в Бездну. А что, Джонни, правда, выразительное слово, сколько в нем заключено: Бездна. В нем весь холод, весь мрак и вся глубь на свете.

— Что же мы будем делать?

— Делать? У нас работа, уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега, а зверь длиной с миноносец и плывет почти так же быстро.

— Но почему, почему он приходит именно сюда?

В следующий миг я получил ответ.

Ревун заревел.

И чудовище ответило.

В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос Ревуна. Одинокий, могучий, далекий-далекий. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук.

— Ну, — зашептал Макдан, — теперь понял, почему оно приходит сюда?

Я кивнул.

— Целый год, Джонни, целый год несчастное чудовище лежит в пучине за тысячи миль от берега, на глубине двадцати миль, и ждет. Ему, быть может, миллион лет, этому одинокому зверю. Только представь себе: ждать миллион лет. Ты смог бы? Может, оно последнее из всего рода. Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкает, то зовет, то смолкает, и ты просыпаешься на илистом дне пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоем брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день приноравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневоле всплываешь медленно: если подняться сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот, наконец, ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же

тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?

Ревун взревел. Чудовище отозвалось.

Я видел все, я понимал все: миллионы лет одинокого ожидания когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря, безумное число веков в пучине, небо очистилось от летающих ящеров, на материке высохли болота, демуры и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, и на пригорках белыми муравьями засуетились люди.

Рев Ревуна.

— В прошлом году, — говорил Макдан, — эта тварь всю ночь проплавала в море, круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила — недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась: шутка ли, столько проплыть! А наутро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картинке. И чудовище ушло прочь от тепла и молчания, уплыло и не вернулось. Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову...

Чудовище было всего лишь в ста ярдах от нас, оно кричало, и Ревун кричал. Когда луч касался глаз зверя, получалось: огонь — лед, огонь — лед.

— Вот она, жизнь, — сказал Макдан. — Вечно все то же: один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любят его. И наступает час, когда хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило.

Чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел.

— Посмотрим, что сейчас будет, — сказал Макдан.

И он выключил Ревуна.

Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользкое вращение фонаря.

Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазищи-прожектора мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, другую сторону, словно искало звук, канувший в туман. Оно взглянуло на маяк. Снова заворчал. Вдруг зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах.

— Макдан! — вскричал я. — Включи Ревуна!

Макдан взялся за рубильник. В тот самый миг когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мельк-

нули могучие лапищи и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части искаженной страданием морды сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел; чудовище ревели. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу; на нас посыпались осколки.

Макдан поймал мою руку.

— Вниз! Живей!

Башня качнулась и подалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатались вниз по лестнице.

— Живей!

Мы успели — нырнули в подвальчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней, Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча, Макдан и я, слушая, как взрывается наш мир.

Все. Лишь мрак и плеск валов о груду битого камня.

И еще...

— Слушай, — тихо произнес Макдан. — Слушай.

Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище, разинув пасть, ревели могучим голосом Ревуна. И суда, что в ту ночь шли мимо, хотя не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали: «Ага, вот он, одинокий голос Ревуна в Лоунсамбэй! Все в порядке. Мы прошли мыс».

Так продолжалось до утра.

Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груду камней над подвалом.

— Она рухнула, и все тут, — мрачно сказал Макдан. — Ее потрепало волнами, она и рассыпалась.

Он уцепился за мою руку.

Никаких следов. Тихое море, синее небо. Только резкий запах водорослей от зеленой жижи на развалинах башни и береговых скалах. Жужжали мухи. Плескался океан.

На следующий год поставили новый маяк, но я к тому времени устроился на работу в городке, женился, и у меня

был уютный, теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Макдан стал зрителем нового маяка, сооруженного, по его указаниям, из железобетона.

— На всякий случай, — объяснил он.

Новый маяк был готов в ноябре. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, остановил машину и смотрел на серые волны, слушая голос нового Ревуна: раз... два... три... четыре раза в минуту, далеко в море, один-одинешенек.

Чудовище? Оно больше не возвращалось.

— Ушло, — сказал Макдан. — Ушло в пучину. Узнало, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в Бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга! Все ждать, и ждать, и ждать... Ждать.

Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсам-бэй. Только слушал Ревуна, Ревуна, Ревуна. Казалось, это ревет чудовище.

Мне хотелось сказать что-нибудь, но что?

ПЕШЕХОД

Большее всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от Рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он один или все равно что один; и наконец он решался, выбирал дорогу и шагал, и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точно светлячки, мерцают за окнами слабые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки; а другое окно еще не закрыли — и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начини он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду защелкают выключатели, и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там, — шептал он, проходя, каждому дому, — что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбой? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и стоять не шевелясь, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретить человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоём одиночестве.

— А что теперь? — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что это — в доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука, и он пошел дальше. Споткнулся — тротуар тут особенно неровный. Асфальта совсем не видно, все заросло цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в улицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облаками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже похожи на русла рек, обнаженные засухой, — каменное ложе молча стынет в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом, как замороженный, двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но... — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина, не так ли? Еще год назад, в 2052-м — в год выборов — полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, людей не разглядеть.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий, — словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла жука в коллекции.

— Можно сказать и так, — согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. «Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам», — подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий, — прошипел механический голос. — Что вы делаете на улице?

— Гуляю, — сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю, — честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?
— Да, сэр.
— Где? Зачем?
— Дышу воздухом. И смотрю.
— Где живете?
— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.
— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.
— А чтобы смотреть, есть телевизор?
— Нет.
— Нет? — Молчание, только что-то потрескивает, и это — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат, — произнес жесткий голос за спящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась, — с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы *просто гуляли*, мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимаетесь?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид, — сказала она.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да, — ответил голос. — Сюда. — Что-то дохнуло, что-то шелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась. — Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Ми-стер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо лобового стекла, заглянул внутрь. Так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой на одной только улице во всем этом городе темных домов — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Вот он, мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи больше ни звука, ни движения.

АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО

Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горlinkах, мягких, как белый горноста́й, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улетая с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, лимонно-зеленой, как мята, лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преображаясь, летела, незримая, на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись и приняли чопорный вид.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша Семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с

пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги — в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной Семьи. День мы спим, ночь летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспять в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камушке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!

И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы, в весеннем сумраке, темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пила.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отдались глотки.

Сеси поглядела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси. Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер, — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остоу из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко

глядят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно слышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Энн Лири, — Девушка встрепенулась. — Зачем я это вслух сказала?

— Энн, Энн — прошептала Сеси. — Энн, ты влюбишься.

Как бы в ответ на ее слова, с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручки крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Энн!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Энн опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой, руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревоушания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умеешь быть вежливой?

Запах сбри от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Т-с, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. — Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи! — Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья — я во всем на свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдем на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ошетинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовления вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты? — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой:

— Не иначе, в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь одевайтесь.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облекает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн вдруг села. — Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу, найду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет-нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она.

Энн встала.

«Надень пальто!»

Энн надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Энн Лири.

«Ступай!»

— Энн, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки своих величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце Энн Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Энн.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах, под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Сеси.

— Ты на себя не похожа, — сказал Том.

— Сегодня да.

— Ты не та Энн Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль оттуда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Энн.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на раздумывавшееся лицо. — Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

— Ты видишь меня? — спросила Сеси.

— Ты вроде бы здесь, и вроде бы где-то далеко отсюда. — Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.

— Да.

— Почему ты пошла со мной?

— Я не хотела, — ответила Энн.

— Так почему же?..

— Что-то меня заставило.

— Что?

— Не знаю. — В голосе Энн зазвенели слезы.

— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так. Кружись, кружись.

Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.

— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.

— Пошла, — ответила Сеси.

— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.

— Энн, — сказал он и взял ее руки дрожащими руками, — Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе и не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, — сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды, — ответила Энн.

— Нет-нет, я хотела сказать: прости меня, — сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руки и насторожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.

— Не знаю, — ответила Энн.

— Нет, знаю, — сказала Сеси. — Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня? — сказал, недоумевая, Том. — То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал — ты как-то переменялась, сильно переменялась. Стала другая. Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — Он подыскивал слова. — Не знаю, не умею сказать.

И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее, — сказала Сеси, — в меня!»

— А я боюсь тебя любить, — продолжал он. — Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть, — ответила Энн.

«Нет-нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси. — Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Энн ничего не сказала.

Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок.

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да, — сказали Энн и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощание?

— Да, — сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Энн сидела будто белое изваяние.

— Энн! — воскликнула Сеси. — Подними руки, обними его!

Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.

Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя, — шептала Сеси. — Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается?.. Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза. — Неважно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста, — сказала Энн Лири.

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь, всего одиннадцать часов, — и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе с этой ночи и навсегда». И она слышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять

свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу, — подумала Сеси. — Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо все-ляться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том, — заговорила наконец Энн.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Грин-таун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда, — можешь ты сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Энн Лири сказала это запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колено, стала писать при свете луны.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул.

— «Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Грин-таун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно-ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...»

— ...на прощание, — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатил прочь.

Сеси отпустила Энн.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минутку, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле оттуда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том. — Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице под деревьями, над темными полями дикой горчицы. — Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, как-нибудь при случае, навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью вверх удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелохнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей.

ПУСТЫНЯ

«И так, настал желанный час...» Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неустомимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпёж, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели — за окном сгущалась тьма, выпалили холодные яркие звезды.

— Слышишь? — сказала Джейнис.

Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыла в небо ракета. И еще что-то — играют на банджо? Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от Рождества Христова две тысячи третье. Несчетные голоса звучат в воздухе, голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревовещателей, проповедников, гадалок, глупцов, школяров, авантюристов — все они собрались тогда в этом городке Индипенденс, штат Миссури. Они ждали, чтоб подсохла почва после дождей и весенних разливов и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты.

Итак, настал желанный час —
И мы летим, летим на Марс!
Пять тысяч женщин в небесах
Творить сумеют чудеса!

— Такую песенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. — Чутьочку изменить слова — и вполне подходит для две тысячи третьего года.

Джейнис взяла маленькую, не больше спичечной, коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула,

сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека — тонны груза, подумать страшно! Огорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец — длиннейший, нескончаемый список! А теперьхвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часов — и будешь сыт, странствуя не просто от Форты Ларамии до Хангтауна, а через всю звездную пустыню.

Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма, и ночь, и межзвездные бездны.

Много лет назад было в ее жизни два таких случая: сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодец. Она выбежала в пустоту. Опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась. Вниз, в непроглядную черноту. В погреб. Она падала долго — успело гулко ударить сердце. И долго-долго она задыхалась в том чулане, — ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слышал ее криков. Со всем одна, взаперти, во тьме. Падаешь во тьму. И кричишь!

Два воспоминания.

И вот сейчас распахнулась дверь чулана и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой; точно черная пантера, дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, — и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Бездна и падение. Бездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно, на пугающий Млечный Путь, в бескрайнюю, беспредельную пустоту, и только старый привычный чулан, где затаился свой, отдельный клочок ночи, напомнил им наконец о том, что их ждет.

Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам, во тьме, в огромном, чудовищном черном чулане и станешь кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет. В бездонную лестничную клетку. Через немыслимую, как в кошмарном сне, угольную шахту — в ничто.

Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. С маху захлопнула

дверь чулана! Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма, и изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи, и наконец дрожь унялась. Истерика, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы.

— Шестьдесят миллионов миль! — она подошла наконец к окну, точно ступила на край глубокого колодца. — Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас.

— Верить надо только в завтрашнюю ракету — не опоздать бы на нее!

Джейнис подняла обеими руками белое платье, в полуметровой комнате оно казалось призраком.

— Странно это... выйти замуж на другой планете.

— Пойдем-ка спать.

— Нет! В полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать, как мне сказать Уиллу, что я решила лететь. Ты только представь, мой голос полетит к нему по световому за шестьдесят миллионов миль! Я боюсь — а вдруг передумаю, со мной ведь это бывало!

— Наша последняя ночь на Земле...

Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим; уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают — и, быть может, никогда не вернуться. Они покидают город Индипенденс в штате Миссури на североамериканском континенте, который омывают два океана — с одной стороны Атлантический, с другой — Тихий, — и ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они страшились посмотреть в лицо этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь рост. И они оцепенели.

— Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь — марсиане.

— Я не хочу! — вдруг крикнула Джейнис.

Ужас сковал ее.

— Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты... И все, все останется позади! Ну зачем мне лететь?!

Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую.

— Там новый мир. Так бывало и в старину. Мужчины идут вперед, женщины — за ними.

— Нет, ты скажи, зачем, ну зачем это мне?

— Затем, — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати. — Затем, что там Уилл.

Отрадно было услышать его имя. Джейнис притихла.

— Это из-за мужчин нам так трудно, — сказала Леонора. — Когда-то, бывало, если женщина одолеет ради мужчины двести миль, это уже событие. Потом они стали уезжать за тысячу миль. А теперь улетают на другой край Вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда?

— Боюсь, в ракете я буду дура душой.

— Ну и я буду душой, — сказала Леонора и поднялась. — Пойдем-ка погуляем на прощание.

Джейнис выглянула из окна.

— Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит.

Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выхода.

— Пойдем.

Отворили наконец дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь.

В небе царило небывалое оживление. То ли распускались огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины — с востока и запада, с юга и севера. Все огромное ночное небо снежило вертолетами. Гостиницы были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались целые палаточные городки, точно странные, уродливые цветы, — и весь город и его окрестности согреты были не одной только летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу развешивавшиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов готовились к старту ракеты, казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского органа, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев.

Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.

— Вы премило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невеселые? — сказал им продавец за стойкой.

— Два стакана шоколада на солоде, — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Джейнис не вымолвила ни слова.

И обе уставились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. Не скоро, очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться солодовым напитком.

Джейнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку.

— От Уилла. Пришло с почтовой ракетой два дня назад. Из-за этого я и решилась лететь. Я тебе сразу не сказала. Посмотри. Возьми, возьми, прочти записку.

Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух:

Милая Джейнис. Это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать.

Уилл

Леонора еще постучала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом — старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леде-нец, уютный дом, а вокруг алели цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом.

— Но позволь, Джейнис!

— Да?

— Это же твой дом здесь, на Земле, на улице Вязов!

— Нет. Смотри получше.

Обе рассмотрелись — по сторонам уютного коричневого дома и за ним открывался вид, какого не найдешь на Земле. Почва была странного лилового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки.

— Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту карточку и смотрела.

Они не сводили глаз с фотографии, разглядывали уютный дом, что ждал за шестьдесят миллионов миль отсюда — знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый, и справа теплый желтый прямоугольник — это светится окно гостиной.

— Молодчина Уилл. — Леонора одобрительно кивнула. — Он знает, что делает

Они допили коктейль. А по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба натающий снег.

Они накупили в дорогу уйму всякого вздора — пакетики лимонных леденцов, журналы мод на глянцевиной бумаге, тонкие духи; потом взяли напрокат две гравизащитные куртки — наряд, в котором стоит коснуться едва заметной кнопки на поясе — и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному притяжению, — и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, понеслись над городом.

— Все равно куда, — сказала Леонора. — Куда глаза глядят.

Они отдались на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полную яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их детства и юности, над школами и улицами, над ручьями, дугами и фермами, такими родными, что каждое зерно пшеницы было дороже золота. Они трепетали, точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Под ними в полях белели пыльные дороги — еще так недавно они по спирали спускались здесь на блестящих под луной стрекочущих вертолетах, и дышали ночной прохладой на берегу реки, и с ними были их любимые, которые теперь так далеко...

Они парили над городом, уже отдаленным, хоть они пока не так высоко поднялись над землей; город уходил вниз, словно черная река, и вдруг, точно гребень волны, вздымался свет живых и ярких огней... и все же город был уже недосыгаем, уже только видение, затянутое дымкой отчужденности; он еще не скрылся навсегда из глаз, а память уже в тоске и страхе оплакивала утрату.

Покачиваясь и кружа в воздухе, они украдкой заглядывали на прощание в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамках освещенных окон, будто уносимые ветром; но это само Время подхватило их обеих и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево — ведь кора хранила вырезанные на ней когда-то признания; скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город, прекрасны и одинокие огоньки и потемневшие от старости кирпичные стены, — они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель; порой всплеснет музыка, забормочут, перекликнутся голоса

в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов.

Две женщины скользили в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке, — и вот уже полны слез глаза, полны с краями и голова и сердце...

«Точно я мертвая, — думала Джейнис, — точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я — нет, все готово жить дальше без меня. Так бывало в пятнадцать, в шестнадцать лет: весной я не могла спокойно пройти мимо кладбища, всегда плакала, думала: ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые, и это несправедливо, несправедливо. Мне стыдно было, что я живу. А вот сейчас, сегодня меня будто вытащили из могилы и сказали: один только раз, последний, посмотри, какой он, город, и люди, и что это значит — жить, а потом за тобой опять захлебнется черная дверь».

Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут второпях тесниться грузовики с припасами для дальнего пути. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться.

Часы на здании суда гулко пробили три четверти двенадцатого, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, опустились на залитую луной мостовую перед домом Джейнис. Город уже спал, дом Джейнис им тоже сулил покой и сон, но обеим было не до сна.

— Неужели это мы? — сказала Джейнис. — Мы — Джейнис Смит и Леонора Холмс, и на дворе год две тысячи третий.

— Да.

Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась.

— Хотела бы я, чтоб это был какой-нибудь другой год.

— Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? — Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая, ветер в листве деревьев. — Всегда было не

одно, так другое — отплытие Колумба, высадка в Плимут-Роке. И хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам.

— Оставаться старыми девами.

— Или сниматься с якоря, как мы сейчас.

Они открыли дверь, дом дохнул им навстречу теплом и ночной тишиной, шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок.

— Вызов! — крикнула на бегу Джейнис.

Леонора вошла в спальню за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяет: «Алло, алло!» В большом далеком городе техник готовится включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждут — одна, вся побелев, сидит с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже ни кровинки.

Настало долгое затишье, и в нем — только звезды и время — нескончаемое ожидание, каким были для них и все последние три года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через бездну, где мчатся метеоры и кометы, убегая от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и расплавит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошел стезжками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь пять минут. Вот что она сказала:

— Здравствуй, Уилл! Это я, Джейнис!

Она сглотнула комок, застрявший в горле.

— Дают так мало времени. Только одну минуту.

Она закрыла глаза.

— Я хочу говорить медленно, а велят побыстрее. Так вот... я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так соскучилась...

Голос ее полетел к далекому, невидимому миру. Теперь, когда все было уже сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если бы какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров и на той стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству, они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они

мчатся со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.

«Что он мне ответит? — думала она. — Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?» Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светфона потрескивало — само пространство говорило с Джейнис, она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь.

— Он уже ответил? — шепнула Леонора.

— Ш-ш! — Джейнис пригнулась к самым коленям, точно ей стало дурно.

И тогда из бездны долетел голос Уилла.

— Я его слышу! — вскрикнула Джейнис.

— Что он говорит?

Голос звучал с Марса, он летел через пустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь, и во мраке — пылающее солнце. И где-то на полпути между Марсом и Землей голос потерялся — быть может, слова захватил силою тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит, быть может, на них обрушился серебряный дождь метеоритной пыли... как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово:

— ...люблю...

И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды и что-то нашептывают солнца, и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах — гром ее собственного сердца.

— Ты его слышала? — спросила Леонора.

У Джейнис едва хватило сил кивнуть.

— Что же он говорил, что он говорил? — допытывалась Леонора.

Но этого Джейнис не сказала бы никому на свете, эта радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась — в памяти опять и опять звучало то единственное слово. Она сидела и вслушивалась, и даже не заметила, как Леонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг.

И вот они лежат в постелях, свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в нем — дыхание долгих странствий среди мрака и звезд; и они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые настанут после: то будут не дни и не ночи,

но неведомое время без границ и пределов; а потом голоса смолкают, заглушенные то ли сном, то ли бессонными мыслями, и Джейнис остается в постели одна.

«Так вот как бывало столетие с лишним назад? — думается ей. — В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат волю, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи наполнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле своих горнов. И пахло грудинкой и окороками, что коптились на дороге, и, словно корабли, тяжело раскачивались фургоны, до отказа нагруженные припасами для перехода через прерии; в деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям, собаки убегали вперед и в страхе прибежали обратно, и в глазах у них отражалась пустыня. Значит, вот как было в те давние времена? На краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни — запах ракеты. Значит, вот как это было?»

Дремотные мысли путались, и, уже погружаясь в сон, она окончательно поняла — да, конечно, неизбежно и неотвратимо — так было от века и так будет во веки веков.

ФРУКТЫ С САМОГО ДНА ВАЗЫ

Уильям Эктон поднялся с пола. Часы на камине пробили полночь.

Он взглянул на свои пальцы, взглянул на большую комнату, в которой находился, и на человека, лежавшего на полу. Уильям Эктон, чьи пальцы стучали по клавишам пишущей машинки, и ласкали любимых женщин, и жарили яичницу с беконом на завтрак поутру, именно этими десятью скрюченными пальцами только что совершил убийство.

Он никогда в жизни не мнил себя скульптором, однако сейчас, видя между своими руками распростертое на полированном дубовом полу тело, он вдруг осознал, что подобно скульптору, тиская, скручивая и переворачивая человеческую плоть, он так отделал человека по имени Дональд Хаксли, что совершенно изменил его физиономию, да и всю его фигуру.

Сплетением своих пальцев он уничтожил въедливый блеск хакслиевых глаз, заменив его слепой, холодной тоской в глазных впадинах. Всегда розовые и чувственные губы разверзлись, открыв лошадиные зубы, желтые от никотина резцы и клыки, золотые коронки на коренных зубах. Нос, тоже обычно розовый, обесцветился, как и его уши, и покрылся пятнами. Раскинутые на полу ладони Хаксли были раскрыты, впервые за всю их жизнь будто прося чего-то, а не требуя, как обычно.

Да, так это воспринималось с эстетической точки зрения. В общем-то перемены в Хаксли пошли на пользу ему. Смерть превратила его в человека, более достойного и доступного. С ним теперь можно было говорить, и он вынужден был слушать вас.

Уильям Эктон посмотрел на свои собственные пальцы. Дело сделано. Теперь не в его силах вернуть все обратно. Не слышал ли кто-нибудь? Он прислушался. Снаружи доносились обычные звуки ночного городского транспорта. Никто не стучал в дверь, не пытался разбить ее в щепки ударом плеча, никто не орал, требуя впустить его. Убийство, превращение человеческой плоти из теплой в ледяную произошло, и никто не знал об этом.

И что теперь? Часы продолжали отбивать полночь. В истерике он всеми фибрами души рвался в одном направлении — к двери. Только бы убежать, убраться отсюда, рвануть на вокзал, на поезд, остановить такси, сесть, ехать, мчаться, идти, ползти, лишь бы подальше отсюда и никогда не возвращаться назад!

Его руки покачивались перед его глазами, летали, поворачиваясь то одной, то другой стороной. Он сжал их в раздумье, они, легкие как перышко, повисли по бокам. Почему он так пристально разглядывал их? — спросил он самого себя. Было ли в них что-то настолько важное, что он сейчас, после успешного удушения своего противника, вынужден остановиться и изучить их досконально, морщинку за морщинкой, завиток за завитком?

Руки были совершенно обыкновенные. Не толстые и не тонкие, не длинные и не короткие, не волосатые и не голые, не наманикюренные и не грязные, не мягкие и не мозолистые, не морщинистые и не гладкие — отнюдь не руки убийцы, однако и не руки ни в чем не повинного человека. Он сам удивлялся, глядя на них.

Его занимали собственно даже не сами его руки и не сами по себе его пальцы. В том тупом безвременье, которое наступило после совершенного им насилия, он находил интересным только *кончики* своих пальцев.

На камине по-прежнему тикали часы.

Он опустился на колени возле тела Хаксли, вынул из кармана Хаксли его носовой платок и стал методично протирать им шею Хаксли. В каком-то иступлении он чистил, массировал шею, протирал ее снаружи и сзади. Затем он встал.

Он посмотрел на шею Хаксли. Посмотрел на полированный пол. Медленно наклонился и провел по полу платком несколько раз, потом принялся тереть и драить пол сначала вокруг головы трупа, затем возле его рук. Потом

он отполировал пол вокруг всего тела. Он оттер пол на ярд вокруг всего тела убитого. Затем он отполировал пол еще на расстоянии двух ярдов вокруг трупа. Затем он...

Он остановился.

И в какое-то мгновение его глазам предстал весь дом, с его холлами в зеркалах, с резными дверями, прекрасной мебелью; и он вдруг совершенно явственно, слово в слово, будто кто повторил все это ему, услышал все, что говорил ему Хаксли и что говорил он сам во время их беседы всего какой-нибудь час назад.

Вот он нажимает кнопку звонка у Хаксли. Дверь открывается.

— О! — удивляется Хаксли. — Это *ты*, Эктон?

— Где моя жена, Хаксли?

— Уж не думаешь ли ты, что я скажу тебе это? Да не стой ты там, идиот этакий! Если хочешь поговорить всерьез, входи. В эту дверь. Сюда. В библиотеку.

Эктон *дотронулся* до двери в библиотеку.

— Выпьешь?

— Да. Ни за что не поверю, что Лили ушла от меня, что она...

— Есть бутылка бургундского, Эктон. Тебе не трудно будет достать его из шкафа?

Достаю. *Трогаю* ее. *Касаюсь* шкафа.

— Там есть интересные первые издания, Эктон. Пощупай вот этот переплет. *Пощупай* его.

— Я пришел не книги смотреть. Я...

Он *дотрагивался* до книг и до стола в библиотеке, он *дотрагивался* до бутылки и до стаканов с бургундским.

И вот, скорчившись на полу возле холодного тела Хаксли с носовым платком в руке, в полной неподвижности Эктон, ошеломленный пришедшей ему в голову мыслью и всем увиденным, расширенными от ужаса глазами, с отпавшей челюстью разглядывал комнату, стены, мебель, окружавшие его. Он закрыл глаза, уронил голову, стиснул в руках платок, превратив его в пыж, и, кусая губы, постарался осадить себя.

Отпечатки его пальцев были везде, *везде!*

— Тебя не затруднит налить бургундское, Эктон, э? Из бутылки, э? И собственными руками, э? А то я ужасно устал, понимаешь?

Пара перчаток.

Прежде чем приниматься еще за что-то, прежде чем протирать следующий предмет, ему необходимо найти пару перчаток, иначе, очищая очередную поверхность, он может невзначай оставить на ней отпечаток своей личности.

Он засунул руки в карманы. Он прошел через весь дом в переднюю к стойке для зонтов, к вешалке для шляп. Обнаружил пальто Хаксли. Вывернул его карманы.

Перчаток не было.

Снова засунув руки в карманы, он поднялся по лестнице, продвигаясь быстро, но при этом контролируя каждый свой шаг, не позволяя безумию, дикости овладеть им. С его стороны было грубой ошибкой не носить перчаток (но он же, в конце концов, не *замышлял* убийство, а в его подсознании, которое могло загодя предположить возможность совершения преступления, даже намек не было на то, что еще до истечения ночи ему могут понадобиться перчатки), и теперь ему приходилось расплачиваться за свою оплошность. В доме, конечно, где-то должна была находиться хотя бы пара перчаток. Ему надлежало спешить: ведь даже в это время к Хаксли мог кто-нибудь заглянуть. Кто-нибудь из богатеньких подвыпивших друзей, имеющих привычку, не говоря ни «здравствуй», ни «прощай», зайти, выпить, поржать, посмеяться и уйти восвояси. До шести утра, когда за Хаксли должны были заехать друзья и поехать с ним сначала в аэропорт, а затем в Мехико-Сити, Эктону нужно было выбраться из дома...

Эктон торопливо обшарил все ящики наверху, используя при этом носовой платок в качестве защиты. Он перевернул семьдесят или восемьдесят ящиков в шести комнатах, после чего будто языки свешивались из них, и продолжал рыться в следующих. Он чувствовал себя голым, неспособным делать что-либо, пока не найдет перчатки. Он мог протереть платком все в доме, отполировать любую поверхность, на которой оказались отпечатки его пальцев, но при этом случайно опереться о стену там или тут и таким образом пропечатать свою собственную судьбу микроскопическими, извилистыми символами! Это будет его собственной, удостоверяющей его личность печатью на доказательстве об убийстве, вот чем это будет! Это все равно что восковые печати в древности, когда, гремя папирусом, на нем цветисто расписывались чернилами, присыпали роспись

песком, чтобы высушить чернила, и в конце послания прикладывали перстень с печаткой на расплавленный алый воск. Так оно и будет, уж поверьте, если он оставит где-нибудь тут хотя бы *один* отпечаток своих пальцев. Он не пойдет так далеко, чтобы признать свою вину в убийстве наложением собственной печати на улики.

Еще ящики! Успокойся, будь внимателен, будь осторожен, повторял он себе.

На самом дне восемьдесят восьмого ящика он обнаружил перчатки.

«О, мой Бог! Мой Бог!» Он со вздохом опустился на стол. Примерил перчатки, повертел ими перед глазами, застегнул их, с гордостью погсгбал пальцы. Перчатки были серого цвета, мягкие, плотные, непроницаемые. Теперь он мог делать все что угодно своими руками, не рискуя оставить следы. В спальне перед зеркалом он показал себе нос и высунул язык.

«НЕТ!» — прокричал Эктон.

Это был воистину зловредный план.

Хаксли *нарочно* свалился на пол! О, до чего же это дьявольски умный человек! Прямо на дубовый пол упал Хаксли, а вслед за ним и Эктон. И они катались по нему, и тузили друг друга, и цеплялись за него, без конца покрывая его отпечатками ошaleвших пальцев! Хаксли переместился на несколько футов — Эктон пополз за ним, чтобы охватить его шею руками и давить ее до тех пор, пока не выдавил из него жизнь, словно пасту из тюбика!

Уже в перчатках Уильям Эктон вернулся в комнату и, опустившись на колени, начал тщательно протирать каждый дюйм пола, на котором могли остаться следы. Дюйм за дюймом, дюйм за дюймом, он все полировал и полировал пол, пока не увидел отражение собственного напряженного, покрытого потом лица в нем. Потом он подошел к столу и стал шлифовать его ножку, затем выше, всю добротную основу стола, добрался до его крышки, протер ручки ящиков. Обнаружив вазу с восковыми фруктами, он до блеска вычистил серебро, вынул из вазы несколько восковых фруктов и основательно протер их, оставив нетронутыми те, что лежали на самом дне.

«Я *уверен*, что не касался их», — успокоил он себя.

Покончив со столом, он обратил свое внимание на картину в раме, висевшую над ним.

«Я знаю, что не трогал *ее*», — сказал он себе.

Он стоял, не спуская глаз с нее.

Он осмотрел все двери в комнате. Какими дверями он пользовался сегодня вечером? Он не помнил. Тогда протрем все. Начал он с дверных ручек, продраил их до блеска и тогда стал оттирать двери сверху донизу, не давая себе поблажки. Потом он занялся мебелью в комнате и протер все кресла.

— Это кресло, в котором ты сидишь, Эктон, старое, еще времен Людовика XIV. *Пощупай* его обивку, — предложил ему Хаксли.

— Я пришел не о мебели толковать, Хаксли! Я пришел ради Лили.

— О, оставь это, тебе нет дела до нее. Ты же знаешь, она не любит тебя. Она сказала, что завтра поедет со мной в Мехико-Сити.

— Да пошел ты со своей дурацкой мебелью!

— Это прекрасная мебель, Эктон, будь порядочным гостем и потрогай ее.

На материи могли остаться отпечатки пальцев.

— Хаксли! — Уильям Эктон устался на лежавший перед ним труп. — Ты что, догадался, что я собираюсь убить тебя? Твое подсознание — так же как мое — заподозрило во мне убийцу? И это твоё подсознание надоумило тебя заставить меня обойти весь твой дом, трогая руками, перекладывая, *обглаживая* старинные книги, посуду, двери, кресла? Ты что, был *такой умный и такой подлый*?

Зажатым в руке платком он протер все стулья. Тут он вспомнил о трупе — его-то он не обработал. Он вернулся к нему и, поворачивая его так и сяк, протер его со всех сторон. Даже почистил ему ботинки — ничего не пропустил.

Когда Эктон занимался ботинками, его лицо исказила гримаса беспокойства, он тут же поднялся и направился к столу.

Он снова вынул из вазы фрукты и тщательно протер те, что оставались на самом ее дне.

«Так-то лучше», — прошептал он и вернулся к трупу.

Но когда он опускался на пол возле трупа, веки его дернулись, челюсть отвисла — он заколебался, потом встал и снова направился к столу.

Он протер раму картины.

За этим занятием он вдруг сделал открытие...

Стена.

«Но это глупо», — подумал он.

«О!» — вскрикнул Хаксли, отражая его нападение. Во время их стычки он оттолкнул Эктона. Тот упал и, поднимаясь, оперся о стену и снова набросился на Хаксли. Он задушил Хаксли. Хаксли умер.

Эктон, полный решимости и уверенности в себе, отвернулся от этой стены. Ругательства и слова обвинения выскочили у него из головы. Он смотрел теперь на все четыре стены.

«Веселенькое дельце!» — произнес он.

Уголкем глаза он что-то заметил на одной из стен.

«Не буду обращать внимание, — сказал он себе, чтобы отвлечься. — Теперь следующая комната! Я буду действовать последовательно. Ну-ка вспомним — мы за все то время побывали в передней, в библиотеке, в *этой* комнате, в столовой и на кухне».

На стене у себя за спиной он увидел пятно.

«А *было ли* оно там?»

Разозлившись, он тем не менее повернулся к стене.

«Ладно уж, ладно, для того только, чтобы *не сомневаться*», — и он приблизился к стене и не обнаружил на ней никакого пятна.

О, такое *малюсенькое*... ну да, вот *здесь*. Он потыкал в это место платком. Это, конечно же, не были отпечатки пальцев. Покончив с этим, он оперся о стену своими руками в перчатках и осмотрел всю стену сначала справа от себя, потом слева, затем сверху донизу — там, где она начиналась выше его головы и заканчивалась у его ног, — и тихо произнес: «Ну нет». Он прошелся взглядом вниз и вверх, поперек и вдоль стены и прошептал: «Это уж слишком». Сколько тут квадратных футов? «Ни за какие коврики, черт меня побери», — сказал он. Однако глаза боялись, а руки в перчатках уже потихоньку протирали стену.

Он воззрился на свою руку и на обои. Взглянул через плечо в соседнюю комнату.

«Я должен пойти туда и почистить основные предметы», — приказал он себе, но его рука, да и он сам, будто они были подпоркой стены, оставались на месте. Он нахмурился.

Не произнеся ни слова, он стал скрести стену — вверх-вниз, вперед-назад, вверх-вниз — настолько высоко, на-

сколько он мог дотянуться, и настолько низко, насколько он мог нагнуться.

«Смех один, Бог мой, один смех!»

Но ты должен быть уверен, подсказывал ему разум.

«Конечно, *нужно* быть уверенным», — отвечал он.

Он покончил с одной стеной и...

Перешел к другой.

«Сколько там *времени?*»

Он посмотрел на часы на камине. Прошел час. Было пять минут второго.

Прозвенел звонок в дверь.

Эктон замер, уставившись на дверь, на замок — на дверь, на замок.

Кто-то громко стал стучать в дверь.

Прошла целая вечность. Эктон не дышал. Оставшись без воздуха, он стал терять силы, покачнулся; в его голове тишину разорвало грохотание волн, бьющих в прибрежные скалы.

— Эй, вы там! — орал кто-то пьяный. — Я же знаю, Хаксли, ты тут! Открой, черт тебя подери! Это Билли-бой, пьяный вдрызг, Хаксли, старик, пьянь беспробудная!

— Пошел вон, — беззвучно пробурчал потрясенный Эктон.

— Хаксли, ты ведь там, я слышу твое *дыхание!* — кричал пьяный голос.

— Да, я здесь, — шептал Эктон, каждой клеткой ощущая *это*, распростертое на полу, длинное, неуклюжее, остывшее и молчащее. — Да.

— Дьявольщина! — произнес голос, затихая вдали в тумане. Шаги удалялись. — Дьявольщина...

Эктон долго стоял неподвижно, ощущая красное биение сердца в своих закрытых глазах и в голове. Когда он наконец открыл глаза, он увидел прямо перед собой еще одну необработанную стену и снова обрел способность говорить.

«Дурак, — сказал он, — эта стена безупречна. Я не трогал ее. Надо спешить. Надо спешить. Время. Время. Осталось всего несколько часов до того, как припрутся его проклятые дружки!»

Он отвернулся.

Боковым зрением он заметил мелкие паутинки на стене. Когда он находился спиной к ней, паучки выбрались из своих укрытий и потихоньку сплели свои едва заметные,

недолговечные паутинки. Не на той стене слева, которую он уже обработал, а на трех других стенах, к которым он еще не прикасался. Всякий раз, когда он смотрел в направлении паучков, они прятались в сооруженной ими паутине, но, стоило ему отвернуться, они вылезали вновь.

«Эти стены в полном порядке, — чуть ли не криком убеждал он себя. — Я их не *трогал!*»

Он подошел к письменному столу, за которым раньше сидел Хаксли. Он открыл ящик и вынул из него то, что он искал. Небольшое увеличительное стекло, которым Хаксли пользовался иногда при чтении. С увеличительным стеклом в руке он неуверенно подошел к стене.

Отпечатки пальцев.

«Но это не мои! — он боязливо засмеялся. — Я их тут не *оставлял!* Я *уверен*, что не оставлял! Может, это слуга, дворецкий или горничная!»

Их было множество на стенке.

«Посмотри хоть на этот вот, — сказал он. — Длинный и конусообразный, женский, готов поспорить на что угодно».

«Правда?»

«Правда!»

«Ты уверен?»

«Да!»

«Точно?»

«Ну... да».

«Абсолютно?»

«Да, черт возьми, да!»

«И все-таки уничтожь его, почему бы нет?»

«Бог мой, да на тебе!»

«Вот и нет проклятого отпечатка, а, Эктон?»

«А вот этот, вот тут, — усмехнулся Эктон. — Этот оставил какой-то толстяк».

«Ты уверен?»

«Довольно! Покончим с *этим!*» — отрубил он и стер пятно. Он снял перчатку и поднял вверх руку, дрожавшую в ослепительном свете ламп.

«Посмотри на нее, дурень! Видишь извилины? Видишь?»

«Это ничего не доказывает!»

«Ах так!»

Разозлившись, он принялся чистить стенку сверху-вниз, вперед-назад руками в перчатках, потя, ворча, проклиная

все на свете, наклоняясь, вытягиваясь во весь рост, лицо его становилось все красивее.

Он снял с себя пальто, положил его на стул.

«Два часа», — произнес он, взглянув на часы и покончив со стенкой.

Он подошел к вазе с восковыми фруктами, вынул их и тщательно протер те, что лежали на самом дне вазы, положил их обратно и протер раму картины.

Он взглянул на люстру.

Пальцы зашевелились у него на висевших по бокам руках.

Он облизнул губы — рот его так и остался открытым, — и он смотрел на люстру, и смотрел в сторону, и снова смотрел на люстру, и смотрел на труп Хаксли, и опять на люстру, на великое множество длинных, хрустальных подвесок на ней.

Он взял стул и подтащил его под люстру, поставил одну ногу на него и убрал ее, и, смеясь, яростно отбросил стул в угол. И он выскочил из комнаты, так и оставив одну из стен не обработанной.

В гостиной он подошел к столу.

— Хочу показать тебе мою коллекцию грегорианских ножей, Эктон, — сказал Хаксли. О, этот пренебрежительный, *гипнотизирующий* тон!

— У меня нет времени, — возразил Эктон. — Я должен видеть Лили...

— Чушь, посмотри лучше на это серебро, на это тончайшее искусство.

Эктон склонился над столом, на котором стояли коробки с вилками, ложками и ножами, и, припоминая все движения и прикосновения к лежащим перед ним предметам, снова слышал голос Хаксли.

И Эктон занялся протираaniem ложек и вилок, снял со стены все декоративные тарелки и керамические блюда.

— Здесь есть изумительная керамика от Гертруды и Отто Нацлера, Эктон. Ты знаком с их изделиями?

— Они действительно прекрасны.

— Возьми вот эту. Переверни ее. Взгляни на изумительно тонкую вазу ручной работы, тончайшая, не толще яичной скорлупы — просто невероятно. И какая глазировка. Потрогай ее, давай. Я не возражаю.

ВОЗЬМИ! ДАВАЙ! ПОТРОГАЙ!

Эктон всхлипнул. Он грохнул вазой по стене. Она разлетелась на мелкие кусочки, хлопьями рассыпалась по полу.

Через мгновение он уже стоял на коленях. Нужно было разыскать каждый кусочек, осколочек от нее. Дурачина, дурачина, дурачина! — кричал он на самого себя, трясая головой, то закрывая, то открывая глаза, скорчившись под столом. Ищи каждый осколочек, идиот, ни одного кусочка нельзя оставить. Дурак, дурак! Он собрал их. Все ли? Он обыскал стол, пространство под столом и под стульями и на буфете при свете зажженной спички обнаружил еще один-единственный осколок, и после всего этого стал полировать каждый мельчайший фрагмент вазы, как если бы это был наидрагоценнейший камень. Он складывал их аккуратно на блестящем после его обработки столе.

— Изумительные керамические изделия, Эктон. Давай *возьми* вот это.

Эктон вооружился тряпкой и протер стулья, и столы, и дверные ручки, и подоконники, и все выступы, и драпировки, и все полы, тяжело дыша, чувствуя сильное сердцебиение, он скинул с себя и пиджак, поправил перчатки на руках, довел до блеска хром...

— Я хочу показать тебе мой дом, Эктон, — говорил Хаксли. — Пошли...

И он перемыл всю посуду, и водопроводные краны, и миксеры, потому что к этому времени он напрочь забыл, что он трогал, а чего не касался. Вот здесь, на кухне они с Хаксли задержались — Хаксли хвастался царившим на ней порядком, скрывая таким образом свою тревогу из-за присутствия потенциального убийцы, а возможно, стараясь быть поближе к своим ножам, если они вдруг понадобятся. Они проводили время, трогая то одно, то другое, то еще что-нибудь — в его памяти ничего не осталось: ни скольких предметов он коснулся, ни того, много ли их вообще было, — и вот он закончил дела на кухне и через переднюю направился в комнату, где лежал Хаксли.

Он вскрикнул.

Он забыл про четвертую стену этой комнаты! И пока его не было, паучки повылезали из своих убежищ на четвертой, еще не обработанной стене. И ими кишели уже чистые три стены, которые они старательно пачкали паутиной! На потолке, в углах комнаты, на полу, на люстре расположился миллион маленьких узорчатых паутинок, всколыхнувших-

ся от его вскрика! Крохотные, малпосенькие паутинки, не больше — как это ни покажется смешным — чем ваш... палец!

Пока он наблюдал эту картину, паутина появилась на раме картины, на вазе с фруктами, на трупе, полу. Отпечатки легли на нож для разрезания бумаги, на раскрытые ящики, покрыли крышку стола, покрывали, покрывали, покрывали все и повсюду.

Он отчаянно тер и тер пол. Он переворачивал тело со стороны на сторону и орал на него в то время, когда мыл его, и поднимался и шел к вазе и протирал восковые фрукты с самого ее дна. Потом он поставил стул под люстру, взобрался на него и протер каждую горящую висюльку на ней, тряся ею как хрустальным тамбурином, пока она не зазвенела серебряными колокольчиками. После этого он спрыгнул со стула и принялся за дверные ручки, затем влез на другие стулья и прошвабрил стены, забираясь все выше и выше, и помчался на кухню, схватил веник и содрал паутину с потолка, и протер фрукты с самого дна вазы, и помыл тело, и дверные ручки, и столовое серебро, и обнаружил в передней перила и, держась за них, вскарабкался наверх.

Три часа! Повсюду в доме с ужасающей методичностью пробили часы! Внизу было двенадцать комнат и восемь наверху. Он сосчитал, сколько ярдов надо почистить в этих помещениях и сколько времени на это уйдет. Сто стульев, шесть диванов, двадцать семь столов, шесть приемников. И еще под ними, и над ними, и вокруг них... Он отодвигал мебель от стен и, всхлипывая, стирал вековую пыль с них и, пошатываясь, цепляясь за перила, подчищая их, драя все по пути — потому что не дай Бог оставить хоть малейший отпечаток пальцев! — поднимался на второй этаж, и здесь надо было продолжать делать то же, — а стукнуло уже четыре часа! — а у него уже болели руки, глаза вылезали из орбит, и он едва передвигал ноги, уронив голову, а руки продолжали работать, протирая и выскребая все в одной спальне за другой, в клозете за клозетом...

Его нашли утром, в половине седьмого.

На чердаке.

Весь дом сверкал чистотой. Вазы сияли словно хрустальные звезды. Все стулья были вычищены. Медь, бронза сверкала в утреннем освещении. Блестели полы, перила.

Сияло все. Все сверкало, все блестело.

Его нашли на чердаке полирующим старые сундуки и старые рамы, и старые стулья, и старые коляски, и старые игрушки, и музыкальные шкатулки, и вазы, и наборы ножей, и лошадок на колесиках, и пропыленные монеты времен гражданской войны. Он уже заканчивал свою работу на чердаке, когда там появился полицейский офицер с пистолетом в руке и встал позади него.

«Все!»

Выходя из дома, Эктон носовым платком протер ручку у входной двери и торжествующе хлопнул ею!

МАЛЬЧИК-НЕВИДИМКА

Она ваяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птички бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дробы.

— Чарли! — крикнула Старуха. — Давай выходи! Я делаю змеиный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, а не то захочу — и земля заколешется, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет средь белого дня!

Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая белка, шелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах, ноги Старухи.

— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе качался взад и вперед.

Вся в поту, она встала и направилась напрямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.

— Ну выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка. — Ах так! — прошипела она. — Хорошо же, я сама войду. — Она повернула дверную ручку пальцами, темными, точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.

— Господи, о Господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настезь!

Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шуриша своей длинной, мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришибла много месяцев назад как раз для такой вот оказии.

Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабушкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.

Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя — будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:

— Ты мой сын, мой, отныне и навеки!

Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.

Но Старуха юркнула следом — проворно, как пестрая ящерица, — и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком, сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей, и делу конец.

— Чарли, ты здесь? — спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.

— Здесь, здесь, где же еще, — ответил он наконец усталым голосом. Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну, — сердито подумала она, — никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»

— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет,

сынок, но ведь неумоготу одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!

— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.

— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!

— Э-э! — презрительно ответил Чарли.

Она заторопилась.

— Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.

Чарли молчал; тогда она свистящим, прерывистым шепотом открыла ему тайну:

— В пятницу, в полнолуние, накопай мышиноного корня, свяжи пучок и носи на шее на белой шелковой нитке.

— Ты рехнулась, — сказал Чарли.

— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, исцелять слепых коней — всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!

— О! — воскликнул Чарли.

Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.

Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.

— Ты меня разыгрываешь, — сказал Чарли.

— Что ты! — воскликнула Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!

— Правда, буду невидимкой?

— Правда, правда!

— А ты не схватишь меня, как я выйду?

— Я тебя пальцем не трону, сынок.

— Ну ладно, — нерешительно сказал он.

Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли — босой, по-нурый, глядит исподлобья.

— Ну, делай меня невидимкой.

— Сперва надо поймать летучую мышь, — ответила Старуха. — Давай-ка, мчи!

Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше... как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...

И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.

В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иглоку. Твердя про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.

Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удастся. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды — в доказательство того, что Господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор Бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.

— Готов? — спросила она Чарли, который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках, руками, рот открыт, зубы блестят...

— Готов, — содрогаясь, прошептал он.

— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши. — Так!

— Ох! — крикнул Чарли и закрыл лицо руками.

— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпичей. Ну!

Он сунул амулет в карман.

— Чарли! — испуганно вскричала она. — Чарли, где ты? Я тебя не вижу, сынок!

— Здесь! — Он подпрыгнул так, что свет красными бликами заметался по его телу. — Здесь я, бабка!

Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.

— Я здесь!

Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.

— Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри! Чарли, вернись, вернись ко мне!

— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.

— Где?

— У костра, у костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не невидимка!

Тощее тело Старухи затряслось от смеха.

— Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя видят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я знала, где ты.

Он нерешительно протянул к ней руку.

Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее коснулся.

— Ой!

— Нет, ты и впрямь не видишь меня? — спросил он. — Правда?

— Ничего не вижу, хоть бы один волосок!

Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.

— А ведь получилось, да еще как! — Она восхищенно вздохнула. — Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?

— Как вода в ручье, когда ее взбаламутишь.

— Ничего, муть осядет. — Погодя, она добавила: — Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?

Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голове. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чертиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно — что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.

Грезя наяву, он заговорил:

— Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросенка увижу — пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.

Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.

— И еще много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.

— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.

Потом прибавила:

— А как с твоими родителями?

— Родителями?

— Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» — а ты у нее под носом!

Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи?», после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.

— Ох, и одиноко тебе будет. Люди станут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу — ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки...

Он глотнул.

— Ну, что девчонки?

— Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видать!

Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы:

— Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше, он как услышит шорох какой, сразу стреляет. — Чарли моргнул. — Я же невидимка, вот и вlepит он мне заряд крупной дроби, очень просто, почудится ему, что белка скачет на дворе, и саданет. Ой-ой...

Старуха кивнула дереву:

— А что, так и будет.

— Ладно, — рассудил Чарли, — сегодня вечером я побуду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?

— Есть же чудачки, выше себя прыгнуть стараются, — сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.

— Это почему же? — спросил Чарли.

— А вот почему, — объяснила она. — Не так-то это просто было, сделать тебя невидимкой. И теперь нужно время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сохнет.

— Это все ты! — вскричал он. — Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!

— Тише, не кричи, — ответила Старуха. — Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.

— Это как же так — я иду по горам, и только одну руку видно?

— Будто пятикрылая птица скачет по камням, по еже-
вике!

— Или ногу?..

— Будто розовый кролик в кустах прыгает!

— Или одна голова плывет в воздухе?

— Будто волосатый шар на карнавале!

— Когда же я целым стану?

Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет.

У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки.

— Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя бежать домой!

Она подмигнула:

— Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.

— Ты нарочно это сделала! — выпалил он. — Старая карга, вздумала удержать меня!

И он вдруг метнулся в кусты.

— Чарли, вернись!

Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдавленный плач, но и тот быстро смолк вдали.

Подождав, она развела костер.

— Вернется, — прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя: — Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.

Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.

Он сел на скатанные ручьем голыши и уставился на нее.

Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!

На его щеках были следы слез.

Старуха сделала вид, будто просыпается — она за всю ночь и глаз-то не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к восходу.

— Чарли?

Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдали. Она звала его, снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.

— Чарли? Ау, Чарльз! — кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.

Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж, во всяком случае, ему очень нравилось быть невидимым.

Она громко произнесла:

— Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.

Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прут.

— Ничего, небось запах сразу учует! — буркнула Старуха.

Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.

Она обернулась с криком:

— Господи, что это?

Подозрительно осмотрелась вокруг.

— Это ты, Чарли?

Чарли вытер руками рот.

Старуха засемила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.

— Чарли, да где же ты?

Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.

Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась — нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, красная от злости, закричала:

— Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь!

Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.

— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там... там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. —

Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие — словно розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе!

Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:

— А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть — и все!

Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.

Собирая хворост в чаще, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бывает невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.

На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи — лягушачьи, жабы, пауцы: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплющивал нос так, что загляни — и увидишь мозг, все мысли прочтешь.

Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.

Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задушить.

Она вздрогнула.

Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.

Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не повела.

Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:

— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!

К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.

Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!

Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!

«Чарли!» — чуть не вскричала она.

Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом сбежал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги его мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.

У Старухи отнялся язык. Что сказать ему? Одеться, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать? Сказать

так? Ох, Чарли, Господи Боже мой, Чарли... Сказать и выдать себя? Как тут быть?..

Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топаёт босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.

Она зажмурилась и стала читать молитву.

Три часа это длилось, наконец она не выдержала:

— Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу!

Он спорхнул к ней, точно лист с дерева, — слава Богу, одетый.

— Чарли, — сказала она, глядя на сосны, — я вижу па-лец твоей правой ноги. Вот он!

— Правда видишь? — спросил он.

— Да, — сокрушенно подтвердила она. — Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вот там, сверху, твое левое ухо висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.

Чарли заплясал.

— Появился, появился!

Старуха кивнула:

— А вон твоя щиколотка показалась.

— Верни мне обе ноги! — приказал Чарли.

— Получай.

— А руки, руки как?

— Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!

— А вторая?

— Тоже ползет.

— А тело у меня есть?

— Уже проступает, все как надо.

— Теперь верни мне голову, и я пойду домой.

«Домой», — тоскливо подумала Старуха.

— Нет! — упрямо, сердито крикнула она. — Нет у тебя го-ловы! Нету! — Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту...

— Нету головы, нету, — твердила она.

— Совсем нет? — заныл Чарли.

— Есть, есть, о Господи, вернулась твоя паршивая го-лова! — огрызнулась она, сдаваясь. — А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!

Чарли швырнул ей мышь.

— Эге-гей!

Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.

Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка — это он, вот журчит под ногами подземный поток — это он, белка цепляется за ветку — это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свининой, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек — вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках, материнских руках, — и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно поблекнуть...

ЧЕЛОВЕК В ВОЗДУХЕ

В год 400-й от Рождества Христова сидел на троне за Великой Китайской стеной император Юань. Его страна зеленела после дождей и мирно готовилась принести урожай, а люди в этой стране хоть и не были самыми счастливыми, но не были и самыми несчастными.

Рано утром, в первый день первой недели второго месяца после Нового года, император Юань пил чай в беседке и веером нагонял на себя теплый ветерок, когда к нему по красным и синим плиткам, выстилавшим дорожку, прибежал слуга, крича:

— Государь, о государь, чудо!

— Да, — ответил император, — воздух сегоднѣ поистине восхитителен!

— Нет-нет, чудо! — повторил слуга, кланяясь.

— И чай приятен моим устам, и это поистине чудо.

— Нет, не то, государь!

— Ты хочешь сказать, взошло солнце и настает новый день. И море лазурно. Это прекраснейшее из всех чудес.

— Государь, какой-то человек летает!

— Как?! — Император перестал обмахиваться.

— Я видел человека в воздухе, и у него крылья, и он летает! Я услышал голос, зовущий с небес, и увидел дракона, поднимающегося ввысь, и в пасти у него был человек. Дракон из бумаги и бамбука, дракон цвета солнца и травы!

— Утро раннее, — произнес император, — и ты только что проснулся.

— Утро раннее, но что я видел — видел. Иди, и ты увидишь тоже.

— Садись тут со мной, — сказал император. — Выпей чаю. Если это правда, то, должно быть, очень странно

увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это, как нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим.

Они пили чай.

— Государь, — сказал вдруг слуга, — только бы он не улетел!

Император задумчиво встал.

— Теперь можешь показать мне, что ты видел.

Они вышли в сад, миновали травянистую лужайку и мостик, миновали рощицу и вышли на невысокий холм.

— Вон там! — указал слуга.

Император взглянул на небо.

А в небе был человек, и он смеялся с такой высоты, что его смех был едва слышен; и этот человек был одет в разноцветную бумагу и тростниковый каркас, образующий крылья, и великолепный желтый хвост, и он парил высоко над землей, как величайшая птица из всех птиц, как новый дракон из древнего драконова царства.

И человек закричал с высоты, в прохладном утреннем воздухе:

— Я летаю, летаю!

Слуга махнул ему рукой:

— Мы тебя видим!

Император Юань не шевельнулся. Он глядел на Великую Китайскую стену, только сейчас начавшую выходить из тумана среди зеленых холмов; на этого чудесного каменного змея, величаво извивающегося среди полей. На прекрасную стену, с незапамятных времен охраняющую его страну от вражеских вторжений, несчетные годы защищающую мир. Он видел город, прикорнувший у реки, и дороги, и холмы, — они уже начали пробуждаться.

— Скажи, — обратился он к слуге, — видел ли этого летающего человека еще кто-нибудь?

— Нет, государь, — ответил слуга; он улыбался небу и махал ему рукой.

Еще несколько мгновений император созерцал небо, потом сказал:

— Крикни ему, чтобы он спустился ко мне.

Слуга сложил руки у рта и закричал:

— Эй, спускайся, спускайся! Император хочет видеть тебя!

Пока летающий человек спускался в утреннем ветре, император зорко оглядывал окрестности. Увидел крестьянина, прекратившего работу и глядевшего в небо, и запомнил, где крестьянин стоит.

Зашуршала бумага, захрустел тростник, и летающий человек опустился на землю. Он гордо приблизился к императору и поклонился, хотя с его нарядом ему было неудобно кланяться.

— Что ты сделал? — спросил его император.

— Летал в небесах, государь, — ответил человек.

— Что ты сделал? — повторил император.

— Но я только что сказал тебе! — воскликнул летавший.

— Ты не сказал вообще ничего. — Император протянул свою тонкую руку, прикоснулся к разноцветной бумаге, к птичьему корпусу машины. От них пахло холодным ветром.

— Разве она не прекрасна, государь?

— Да, слишком даже прекрасна.

— Она единственная в мире! — засмеялся человек. — И я сам ее придумал.

— Единственная в мире?

— Клянусь!

— Кто еще знает о ней?

— Никто. Даже моя жена. Она решила бы, что солнце ударило мне в голову. Думала, что я делаю бумажного дракона. Я встал ночью и ушел к далеким скалам. А когда взошло солнце и повеял утренний ветерок, я набрался храбрости, государь, и спрыгнул со скалы. И полетел! Но моя жена об этом не знает.

— Ее счастье, — произнес император. — Идем.

Они вернулись ко дворцу. Солнце уже сияло высоко в небе, и трава пахла свежестью. Император, слуга и летающий человек остановились в обширном саду.

Император хлопнул в ладоши.

— Стража!

Прибежала стража.

— Схватить этого человека!

Стража схватила его.

— Позвать палача, — приказал император.

— Что я сделал? — в отчаянии вскричал летавший. — Что я сделал? — пышное бумажное одеяние зашелестело от его рыданий.

— Вот человек, который построил некую машину, — произнес император, — а теперь спрашивает у нас, что он сделал. Он сам не знает что. Ему важно только делать, а не знать, почему и зачем он делает.

Прибежал палач с острым, сверкающим мечом. Остановился, изготовил мускулистые, обнаженные руки, лицо закрыл холодной белой маской.

— Еще мгновение, — сказал император. Подошел к стоявшему поблизости столу, где была машина, им самим построенная. Снял с шеи золотой ключик, вставил его в крошечное отверстие, несколько раз повернул, и механизм заработал.

Это был сад из золота и драгоценных камней. Когда механизм работал, то на ветвях деревьев пели птицы, в крохотных рощицах бродили звери, а маленькие человечки перебегали с солнца в тень, обмахивались крошечными веерами, слушали пение изумрудных птичек и останавливались у миниатюрных журчащих фонтанов.

— Разве это не прекрасно? — спросил император. — Если ты спросишь меня, что я сделал, я отвечу тебе. Я показал, что птицы поют, что деревья шумят, что люди гуляют по зеленой стране, наслаждаясь тенью и зеленью, и пением птиц. Это сделал я.

— Но, государь... — Летавший упал на колени, заливаясь слезами. — Я тоже сделал нечто подобное! Я нашел красоту. Взлетел в утреннем ветре. Смотрел вниз на спящие дома и сады. Ощущал запах моря и со своей высоты даже видел его далеко за горами. И парил как птица. Ах, нельзя рассказать, как прекрасно там наверху, в небе: ветер веет вокруг, и несет меня то туда, то сюда, как перышко, и утреннее небо пахнет... А какое чувство свободы! Это прекрасно, государь, это так прекрасно!

— Да, — печально ответил император. — Я знаю, что это так. Ибо я и сам чувствовал, как мое сердце парит вместе с тобою в небе, и размышлял: «Каково это? Какое ощущение? Какими видишь с этой высоты далекие озера? А мои дворцы? А слуги? А город вдали, еще не проснувшийся?»

— Пощади меня!

— Но бывает и так, — продолжал император еще печальнее, — что человеку приходится жертвовать чем-нибудь прекрасным, дабы сохранить то прекрасное, которое у него уже есть. Я не боюсь тебя, тебя самого, но боюсь другого человека.

— Кого же?

— Какого-нибудь другого, который, увидев тебя, построит такую же машину из цветной бумаги и бамбука. Но у этого человека может оказаться злое лицо и злое сердце, и он не захочет смотреть на красоту. Такого человека я и боюсь.

— Почему? Почему?

— Кто может сказать, что когда-нибудь такой человек не взлетит к небу в такой машине из бамбука и бумаги и

не сбросит огромные каменные глыбы на Великую стену? — спросил император, и никто не смел ни шевельнуться, ни вымолвить слово.

— Отрубить ему голову! — приказал император.

Палач взмахнул блестящим ножом.

— Сожгите дракона и его создателя и пепел обоих схороните вместе, — сказал император. Слуги кинулись исполнять приказание. Император обратился к своему слуге, который первым увидел летающего человека: — Обо всем этом молчи. Все это было очень грустным и прекрасным сном. Крестьянину, которого мы видели в поле, скажи, что ему будет заплачено, если он сочтет это видением. Но если вы скажете хоть слово, вы оба умрете.

— Ты милосерден, господин.

— Нет, я не милосерден, — возразил император. Он смотрел, как за садовой оградой слуги сжигают прекрасную, пахнущую утренним ветром машину из бумаги и тростника. Видел темный дым, поднимающийся к небу. — Нет, я в отчаянии и очень испуган. — Он смотрел, как слуги роют яму, чтобы схоронить пепел. — Что такое жизнь одного человека в сравнении с жизнью миллионов! Пусть эта мысль будет мне утешением.

Он снял ключик с цепочки на шее и снова завел механизм чудесного сада. Стоял и глядел вдаль, на Великую стену, на миролюбивый город, на зеленые поля, на реки и дороги. Вдохнул. Крохотный механизм зажужжал, и сад ожил. Под деревьями гуляли человечки, на залитых солнцем полянках мелькали зверьки в блестящих шубках, а в ветвях деревьев порхали голубые и золотистые птички и кружились в маленьком небе.

— Ах! — вдохнул император, закрывая глаза. — Ах, эти птички, птички...

УБИЙЦА

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы». Из-за другой — «Послеполуденный отдых фавна». Из-за третьей — «Поцелуй еще разок!» Он повернул за угол, «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да-да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап, — сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского к «Ромео и Джульетте», она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади шелкнул замок.

— Только вас не хватало, — сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь, — сказал психиатр.

И нахмурился. Что-то в комнате было не так. Он ощутил это еще с порога. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся:

— Удивились, что тут так тихо? Просто я кокнул радио. «Буйный», — подумал врач.

Арестант прочел его мысль, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с машинками, которые твякают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — мистер Элберт Брок, именующий себя Убийцей? Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде чем мы начнем... — мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе и ему величайшее благодеяние. — Вот так-то лучше.

Психиатр во все глаза смотрел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, наверное, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент. — Как поется в старой песенке: «Мне плевать, что станется со мною!» — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой, одной из первых, был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!

- М-мм, — промычал психиатр.
- Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.
- У вас богатое воображение.
- Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.
- Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?
- Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машиной-призраком. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел это говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом, телефон необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует — позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не спят рекламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане; едешь в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет, жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих штук, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старине Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас где, милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом какой-то чужой дядя орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какой марки резинку вы жуете в данную минуту?» Ну знаете!
- Как вы себя чувствовали всю эту неделю?
- А так: вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стену. В тот день в конторе я и поступил как надо.
- А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте

— И вывели его из строя?

— Конечно! То-то была потеха! Стенографистки забегали как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило, я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз завершал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться от всех этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Другам-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Гринхилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно». Еще удобно моему начальству: я разъезжаю по делам службы, а в машине радио — и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у бензоколонки, зайду в уборную». — «Ладно, Брок, валяйте». — «Брок, чего вы столько возились?» — «Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

— И что же дальше? — помолчав, спросил врач.

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки! «Брок,

туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок...» Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь и чувствую — в ушах мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался, это была Свобода!

— Продолжайте!

— Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестидесят первую... А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!» А репродуктор орет «Сказки Венского леса» — точь-в-точь канарейка натошак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю диатермический аппарат! Помехи! Перебои! Все жены отрезаны от брюзжания замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. *Ти-ши-на!* Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравится радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции,

добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия!

— А я так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Так ведь они хватают через край. Послушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня из таких, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стихи, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебе лопочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» — или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки» — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай Бог, уронишь щепотку пепла с сигареты, мигом всосет. О Боже милостивый!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марасть!» Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Переверни!» Я всадил пулю в самую серединку механической яичницы —

и плите пришел конец. Ох, как она зашипела и завершала: «Я перегорела!» Потом завопил телефон, прямо как капризный ублюдок. И я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно, я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай себе мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил коварную бестию — телевизор. Это Медуза — каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, это сирена — поет, и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я и опять проделал бы то же самое, верно вам говорю.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, от того, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет — делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм-м... — Психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти полезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и запуталось, и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия

жизни! Мы — нервное поколение! Но помяните мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению, и в кино, вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал вставая мистер Брок. — Я буду сидеть да посиживать и наслаждаться мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал Брок.

— Постараюсь, — отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагнул один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Пасакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэгтайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком, — отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола заскрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка, и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял

одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие; телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

ЗОЛОТОЙ ЗМЕЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕТЕР

— **В** форме свиньи? — воскликнул мандарин.
— В форме свиньи, — подтвердил гонец и покинул его.

— О, что за горестный день несчастного года! — возопил мандарин. — В дни моего детства город Квон-Си за холмом был так мал. А теперь он вырос настолько, что обзавелся стеной!

— Но почему стена в двух милях от нас в одночасье лишает моего родителя покоя и радости? — спросила его дочь.

— Они выстроили свою стену, — ответил мандарин, — в форме свиньи! Понимаешь? Стена нашего города выстроена наподобие апельсина. Их свинья жадно пожрет нас!

— О. — И оба надолго задумались.

Жизнь полна символов и знамений. Духи обитали повсюду. Смерть таилась в капельке слез, и дождь — во взмахе крыла чайки. Поворот веера — вот так — наклон крыши и даже контур городской стены — все имело свое значение. Путники, торговцы и зеваки, музыканты и лицедеи доберутся до двух городов, и знамения заставят их сказать: «Город в облике апельсина? Нет, лучше я войду в город, подобный свинье, набирающей жир на любом корму, и буду процветать его удачей».

Мандарин заплакал.

— Все потеряно! Тяжелые дни наступили для нашего города, ибо явились ужасающие знаки.

— Тогда призови к себе каменщиков и строителей храмов, — посоветовала его дочь. — Я нашепчу тебе из-за шелковой ширмы, что сказать им.

The Golden Kite, the Silver Wind

© Издательство «Полярис», перевод, 1996

И в отчаянии хлопнул в ладоши старик:

— Хэй, каменщики! Хэй, строители домов и святилищ!

Быстро явились к нему мастера, знакомые с мрамором, гранитом, ониксом и кварцем. Встретил их мандарин, ежась на троне в ожидании шепота из-за шелковой ширмы. И вот прозвучал шепот:

— Я собрал вас...

— Я собрал вас, — повторял мандарин, — ибо наш город выстроен в форме апельсина, а гнусные жители Квон-Си выстроили свою стену в облике жадной свиньи...

Закричали каменотесы и восплакали. Простучала во внешнем дворике тросточка смерти. Отхаркалась, прячась в тенях, нищета.

— А потому, — сказали шепот и мандарин, — мои строители, возьмите кирпичи и камни и измените форму нашего города!

Вздохнули изумленно зодчие и каменщики. И сам мандарин вздохнул изумленно. А шепот нашептывал, и повторял за ним мандарин:

— И мы отстроим наши стены в форме дубинки, которая отгонит свинью!

Вскочили с колен мастера и закричали от радости. Даже сам мандарин, восхитившись своими словами, захлопал в ладоши, поднявшись с трона.

— Быстрее же! — воскликнул он. — За работу!

А когда ушли люди, веселые и деловитые, мандарин повернулся к шелковой ширме и с любовью воззрился на нее.

— Позволь обнять тебя, дочь моя, — прошептал он.

Но ответа не было, и, шагнув, за ширму, мандарин не нашел там никого.

«Какая скромность, — подумал мандарин. — Она ушла, оставив меня радоваться победе, словно я одержал ее».

Новость расходилась по городу, и жители славили мудрого мандарина. И каждый таскал камень к стенам. Запускали фейерверки, чтобы отогнать демонов нищеты и погибели, пока горожане трудятся вместе. И к концу месяца встала новая стена, в форме могучей булавы, способной отогнать не только свинью, но даже кабана или льва. И мандарин той ночью спал, как счастливый лис.

— Хотел бы я видеть мандарина Квон-Си, когда ему донесут эту весть. Что за шум и суматоха поднимется! Он,

должно быть, прыгнет с утеса от злости, — говорил он. — Налей еще вина, о дочь-думающая-как-сын.

Но радость его увяла быстро, как цветок зимой. В тот же вечер в тронный зал ворвался гонец.

— О мандарин! Чума, лавины, саранча, голод и отравленные колодцы!

Задрожал мандарин.

— Горожане Квон-Си, чьи стены построены в форме свиньи, которую прогнали мы, изменив наши стены в подобие дубинки, превратили нашу победу в прах. Они построили стену в виде огромного костра, чтобы сжечь нашу дубинку!

И сжалось сердце мандарина, как сморщивается последнее яблоко на осенних ветвях.

— О боги! Путники станут обходить нас стороной. Торговцы, узрев такие знамения, отвернутся от полыхающей дубинки к пожирающему ее огню!

— Нет, — донесся из-за шелковой ширмы голос, как падение снежинок.

— Нет, — повторил изумленный мандарин.

— Передай каменотесам, — сказал шепот, как касание капли дождя, — чтобы они отстроили стену в облике сверкающего озера.

Повторил эти слова мандарин, и потеплело у него на сердце.

— И воды озера, — сказали шепот и старик, — погасят огонь навеки!

И вновь возрадовались горожане, узнав, что и в этот раз сохранил их от напасти блистательный повелитель мудрости. Побежали они к стенам и отстроили их заново, в новом обличье. Но пели они уже не так громко, ибо устали, и работали не так быстро, ибо в тот месяц, что строили первую стену, поля и лавки оставались заброшены и жители голодали и нищали.

Но последовали дни жуткие и удивительные, и каждый — как новая коробочка со страшным сюрпризом.

— О повелитель! — воскликнул гонец. — В Квон-Си перестроили стену, чтобы она походила на рот и выпила наше озеро!

— Тогда, — ответил повелитель, стоя у шелковой ширмы, — отстроим наши стены в подобие иглы, чтобы зашить этот рот!

— Повелитель! — взвизгнул гонец. — Они строят стену в виде меча, чтобы сломать нашу иглу!

Трепеща, прижался повелитель, к шелковой ширме.

— Тогда переставьте камни, чтобы походила стена на ножны для их меча.

— Смилуйся, повелитель! — простонал гонец следующим утром. — Враги работали всю ночь и сложили стену в форме молнии, которая разломает и уничтожит ножны.

Болезни носились по городу, как стая бешеных псов. Жители, долгие месяцы трудившиеся над постройкой стен, сами ходили теперь на призраки смерти, и кости их стучали на ветру, как ксилофон. Похоронные процессии потянулись по улицам, хотя была еще середина лета, время сельских трудов и сбора урожая. Мандарин заболел, и кровать его поставили в тронном зале, перед шелковой ширмой. Он лежал, скорбный, отдавая приказы строителям, и шепот из-за ширмы становился все тише и слабее, точно ветер в камышах.

— Квон-Си — это орел? Наши стены должны стать сетью для него. Они построили подобие солнца, чтобы спалить нашу сеть? Мы выстроим луну, чтобы затмить их солнце!

Как проржавевшая машина, город со скрежетом застыл.

И наконец голос из-за экрана прошептал в отчаянии:

— Пошлите за мандарином Квон-Си!

В последние дни лета четверо голодных носильщиков внесли в тронный зал мандарина Квон-Си, исстрадавшегося и измученного. Мандаринов поставили друг против друга. Дыхание их свистело, как зимний ветер.

— Мы должны положить конец этому безумию, — прошептал голос.

Старики кивнули.

— Так не может больше продолжаться, — говорил голос. — Наши подданные заняты только тем, что перестраивают городские стены ежедневно и ежечасно. У них не остается времени на охоту, рыбалку, любовь, почитание предков и потомков их предков.

— Истинно так, — ответили мандарины городов Клетки, Луны, Копья, Огня, Меча и еще многого, многого другого.

— Вынесите нас на солнце, — приказал шепот.

И стариков вынесли на вершину холма, под ясное солнце. На летнем ветру худенькие ребяташки запускали воздушных змеев всех цветов — цвета солнца, и лягушек, и травы, цвета моря, и зерна, и медаков.

Дочь первого мандарина стояла у его ложа.

— Видишь ли? — спросила она.

— Это лишь воздушные змеи, — ответили старики.

— Но что есть воздушный змей на земле? — спросила она. — Его нет. Что нужно ему, чтобы сделаться прекрасным и возвышенным, чтобы удержаться в полете?

— Ветер, конечно, — был ответ.

— А что нужно ветру и небу, чтобы стать красивыми?

— Воздушный змей — много змеев, чтобы разрушить однотонность неба, полет красочных змеев!

— Пусть же будет так, — сказала дочь мандарина. — Ты, Квон-Си, в последний раз перестроишь свои стены в подобие самого ветра, не больше и не меньше. Мы же выстроим свои в подобие золотого змея. Ветер поднимет змей к удивительным высотам. А тот разрушит монотонность ветра, даст ему цель и значение. Одно ничто без другого. Вместе найдем мы красоту, и братство, и долгую жизнь.

Так возрадовались мандарины при этих словах, что тотчас же поели — впервые за многие дни, — и силы вернулись к ним в тот же миг. Обнялись они и осыпали хвалами друг друга, а пуще всего — дочь мандарина, называя ее мальчиком, мужем, опорой, воином и истинным, единственным сыном. А потом расстались они, не мешкая, и поспешили в свои города, распевая от счастья слабыми голосами.

А потом стали города-соседи Городом Золотого Змея и Городом Серебряного Ветра. И собирали в них урожай, и вновь открылись лавки, вернулась плоть на костяки, и болезни умчались, как перепуганные шакалы. И каждую ночь жители Города Воздушного Змея слышали, как поддерживает их ласковый и чистый ветер, а жители Города Ветра — как поет, шепчет и озаряет их в полете воздушный змей.

— И да будет так, — сказал мандарин, стоя перед шелковой ширмой.

Я НИКОГДА ВАС НЕ УВИЖУ

Послышался тихий стук в кухонную дверь, и когда миссис О'Брайен отворила, то увидела на крыльце своего лучшего жильца, мистера Рамиреса, и двух полицейских — по одному с каждой стороны. Зажатый между ними, мистер Рамирес казался таким маленьким.

— Мистер Рамирес! — озадаченно воскликнула миссис О'Брайен.

Мистер Рамирес был совершенно уничтожен. Он явно не мог найти слов, чтобы объясниться.

Он пришел в пансионат миссис О'Брайен больше двух лет назад и с тех пор постоянно жил тут. Приехал на автобусе из Мехико-Сити в Сан-Диего, а затем сюда, в Лос-Анджелес. Здесь он нашел себе маленькую чистую комнату с лоснящимся голубым линолеумом на полу, с картинами и календарями на цветастых обоях и узнал миссис О'Брайен — требовательную, но приветливую хозяйку. В войну работал на авиазаводе, делал части для самолетов, которые куда-то улетали; ему и после войны удалось сохранить свое место. С самого начала он зарабатывал хорошо. Мистер Рамирес понемногу откладывал на сберегательную книжку и только раз в неделю напивался — право, которое миссис О'Брайен признавала за каждым честным тружеником, не докучая человеку расспросами и укорами.

В печи на кухне миссис О'Брайен пеклись пироги. Скоро они лягут на стол, чем-то похожие на мистера Рамиреса: блестящая, хрустящая коричневая корочка и надрезы, чтобы выходил воздух, сильно смахивающие на узкие щелочки, сквозь которые смотрели его черные глаза. На кухне вкусно пахло. Полицейские чуть наклонились вперед, соблазненные

заманчивым ароматом. Мистер Рамирес упорно смотрел на свои ноги, точно это они завели его в беду.

— Что произошло, мистер Рамирес? — спросила миссис О'Брайен.

Подняв глаза, мистер Рамирес за спиной миссис О'Брайен увидел знакомый длинный стол с чистой белой скатертью, и на нем большое блюдо, холодно поблескивающие бокалы, кувшин с водой и кубиками льда, миску свежего картофельного салата и миску фруктового салата из бананов и апельсинов, нарезанных кубиками и посыпанных сахаром. За столом сидели дети миссис О'Брайен. Трое взрослых сыновей были увлечены едой и разговором, две дочери помоложе ели, не сводя глаз с полицейских.

— Я здесь уже тридцать месяцев, — тихо сказал мистер Рамирес, глядя на пухлые руки миссис О'Брайен.

— На шесть больше, чем положено, — добавил один из полицейских. — У него ведь временная виза. Мы уже начали его разыскивать.

Вскоре после того как мистер Рамирес поселился в пансионате, он купил для своей комнатухи радиоприемник; придя с работы, он с неподдельным удовольствием включал его на полную мощность. Кроме того, он купил часы на руку, которые тоже носил с удовольствием. Вечерами он часто гулял по примолкшим улицам, разглядывал в витринах красивые рубашки и некоторые из них покупал, любовался брошками и некоторые покупал своим немногочисленным приятельницам. Одно время он по пять раз в неделю ходил в кино. Еще он катался на трамвае, иногда целую ночь напролет, вдыхая электричество, скользя черными глазами по объявлениям, чувствуя, как вращаются колеса под ним, глядя, как проплывают мимо маленькие спящие дома и большие отели. Кроме того, он ходил в роскошные рестораны, где заказывал себе обед из многих блюд, посещал оперу и театр. И он приобрел автомобиль, но потом забыл про взносы, и сердитый агент из магазина увел машину со стоянки перед пансионатом.

— Понимаете, миссис О'Брайен, — продолжал мистер Рамирес, — придется мне выехать из моей комнаты. Я пришел только забрать свой чемодан и одежду; чтобы последовать за этими господами.

— Обратно в Мексику?

— Да. В Лагос. Это маленький городок севернее Мехикосити.

— Мне очень жаль, мистер Рамирес.

— Я уже собрал свои вещи, — глухо произнес мистер Рамирес, часто моргая черными глазами и растерянно шевеля руками.

Полицейские не трогали его. В этом не было нужды.

— Вот ключ, миссис О'Брайен, — сказал мистер Рамирес. — Я уже взял чемодан.

Только теперь миссис О'Брайен заметила стоящий у его ног чемодан.

Мистер Рамирес снова обвел взглядом просторную кухню, блестящее серебро приборов, обедающих молодых людей, сверкающий воском пол. Он повернулся и долго глядел на соседний дом, высокое и красивое трехэтажное здание. Глядел на балконы и пожарные лестницы, на ступеньки крылец, на веревки с хлопающим на ветру бельем.

— Вы были хорошим жильцом, — сказала миссис О'Брайен.

— Спасибо, спасибо, миссис О'Брайен, — тихо ответил он. И закрыл глаза.

Миссис О'Брайен правой рукой придерживала наполовину открытую дверь. Один из сыновей за ее спиной напомнил, что ее обед стынет, но она только кивнула ему и снова повернулась к мистеру Рамиресу. Когда-то ей довелось гостить в нескольких мексиканских пограничных городках, и вот теперь вспомнились знойные дни и несчетные циклады — они прыгали, падали, лежали мертвые, хрупкие, словно маленькие сигары в витринах табачных лавок, — вспомнились каналы, разносящие по фермам воду из реки, пыльные дороги, иссушенные пригорки. И тихие города, и теплое вино, и непереносимые обжигаящие рот сытные блюда. Вспомнились вяло бредущие лошади и тощие зайцы на шоссе. Вспомнились ржавые горы, запорошенные пылью долины и океанский берег, сотни километров океанского берега — и никаких звуков, кроме приboя.

— Мне искренне жаль, мистер Рамирес, — сказала она.

— Я не хочу уезжать обратно, миссис О'Брайен, — тихо промолвил он. — Мне здесь нравится, я хочу остаться. Я работал, у меня есть деньги. Я выгляжу вполне прилично, ведь правда? Нет, я не хочу уезжать!

— Мне очень жаль, мистер Рамирес, — ответила она. — Если бы я могла что-то сделать.

— Миссис О'Брайен! — вдруг крикнул он, и по щекам его покатились слезы. Он протянул обе руки, пылко схватил

ее руку и тряс, сжимал, цеплялся за нее. — Миссис О'Брайен, я никогда вас не увижу больше, никогда не увижу!..

Полицейские улыбнулись, но мистер Рамирес не видел их улыбок, и они перестали улыбаться.

— Прощайте, миссис О'Брайен. Вы были очень добры ко мне. Прощайте! Я никогда вас не увижу больше!

Полицейские ждали, когда мистер Рамирес повернется, возьмет свой чемодан и пойдет. Он сделал это, и они последовали за ним, вежливо козырнув на прощание миссис О'Брайен. Она смотрела, как они спускаются вниз по ступенькам. Потом тихо затворила дверь и медленно вернулась к своему стулу. Она выдвинула его и села. Взяла блестящие нож и вилку и вновь принялась за свою котлету.

— Поторопись, мам, — сказал один из сыновей. — Все остыло.

Миссис О'Брайен отрезала кусок и долго, медленно жевала его, потом поглядела на закрытую дверь. И положила на стол нож и вилку.

— Что случилось, мама?

— Ничего, — сказала миссис О'Брайен, поднося руку к лицу. — Просто я подумала, что никогда больше не увижу мистера Рамиреса...

ВЫШИВАНИЕ

В сумеречном вечернем воздухе на террасе часто-часто сверкали иголки, и казалось, это кружится рой серебряных мошек. Губы трех женщин беззвучно шевелились. Их тела откидывались назад, потом едва заметно наклонялись вперед, так что качалки мерно покачивались, тихо скрипя. Все три смотрели на свои руки так пристально, словно вдруг увидели там собственное, тревожно бьющееся сердце.

— Который час?

— Без десяти пять.

— Надо уже идти лущить горох для обеда.

— Но... — возразила одна из них.

— Верно, я совсем забыла. Надо же...

Первая женщина остановилась на полуслове, опустила на колени руки с вышиванием и посмотрела через открытую дверь, через дышащую безмолвным уютом комнату в притихшую кухню. Там, на столе, ожидая, когда ее пальцы выпустят чистенькие горошины на волю, лежала кучка изящных упругих стручков. И ей казалось, что она в жизни не видела более яркого воплощения домовитости.

— Иди лущи, если тебе от этого будет легче на душе, — сказала вторая женщина.

— Нет, — ответила первая, — не хочу. Никакого желания.

Третья женщина вздохнула. Она вышивала розу, зеленый лист, ромашку и луг. Иголка то появлялась, то снова исчезала.

Вторая женщина делала самый изысканный, тонкий узор, ловко протыкала материю, безошибочно ловила иглу и посылала обратно, заставляя ее молниеносно порхать вверх-

вниз, вверх-вниз. Зоркие черные глаза чутко следили за каждым стежком. Цветок, мужчина, дорога, солнце, дом — целая картина рождалась под ее руками, чудесный миниатюрный ландшафт, подлинный шедевр.

— Иногда думается, в руках все спасение, — сказала она, и остальные кивнули, так что кресла вновь закачались.

— А может быть, — заговорила первая женщина, — душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем руками. Порой мне кажется, что наши руки не делают и половины того, что следовало бы, а головы и вовсе не работают.

Они с новым вниманием посмотрели на то, чем были заняты руки.

— Да, — согласилась третья женщина, — когда вспоминаешь свою жизнь, то видишь в первую очередь руки и то, что они сделали, а потом уже лица.

Они посчитали в уме, сколько крышек поднято, сколько дверей отворено и затворено, сколько цветов собрано, сколько обедов приготовлено торопливыми или медлительными — в соответствии с характером и привычкой — руками. Оглядываясь на прошлое, они видели словно воплощенную мечту чародея: вихрь рук, распахивающиеся двери, поворачивающиеся краны, летающие веники, ожившие розги. И единственным звуком был шелест порхающих розовых рук, все остальное было как немой сон.

— Не будет обеда, который надо приготовить, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, — сказала третья женщина.

— Не будет окон, которые надо открывать и закрывать.

— Не будет угля, который надо бросать в печь в подвале, как настанет зима.

— Не будет газет, из которых можно вырезать рецепты.

Внезапно все три расплакались. Слезы мягко катились вниз по щекам и падали на материю, по которой бегали их пальцы.

— От слез все равно не легче, — заговорила наконец первая женщина и поднесла большой палец сначала к одному глазу, потом к другому. Она поглядела на палец — мокрый.

— Что же я натворила! — укоризненно воскликнула вторая женщина.

Ее подруги оторвались от работы. Вторая женщина показала свое вышивание. Весь ландшафт закончен, все безупречно: вышитое желтое солнце светит на вышитый зеленый луг, вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь, к

вышитому розовому дому — и только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так.

— Придется, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор, — сказала вторая женщина.

— Какая досада. — Они пристально смотрели на чудесную картину с изъяном.

Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами. Стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать.

— Что ты делаешь? — спросили подруги.

Они наклонились, чтобы посмотреть.

Мужчина исчез совершенно. Она убрала его.

Они молча продолжали вышивать.

— Который час? — спросила одна.

— Без пяти пять.

— А это назначено на пять часов ровно?

— Да.

— И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?

— Не знают.

— Почему мы их не остановили вовремя, когда еще не зашло так далеко?

— Она вдвое мощней предыдущей. Нет, в десять раз, если не в тысячу.

— Она не такая, как самая первая или та дюжина, что появилась потом. Она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить.

Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы.

— А теперь который час?

— Без одной минуты пять.

Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках, словно стайка металлических рыбок.

Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь.

— Мы ничего не услышим?

— Говорят, нет.

— Может быть, мы просто дуры. Может быть, мы и после пяти будем продолжать по-старому лущить горох, отворять двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины...

— Вот посмеемся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта!

Они неуверенно улыбнулись друг другу.

— Пять часов.

В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу. Пальцы беспокойно летали. Лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирень и траву, деревья и дома и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчетливо было слышно их дыхание.

Прошло тридцать секунд.

Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее.

— Пожалуй, стоит все-таки налушить гороха к обеду, — сказала она. — Я...

Но она не успела даже поднять головы. Уголком глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнем. И она не стала поднимать головы, ибо знала, что это. Она не глядела, и подруги ее тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе; женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом, даже с террасой. Они смотрели только на узор в дрожащих руках.

Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок. Она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно, за ним исчезла дорога, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило крышу, опалило один за другим вышитые листья на вышитом зеленом деревце, затем раздергало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, которая все еще продолжала сверкать в движении, с иголки пополз по пальцам, по рукам, лизнул тело и принялся распаривать ткань ее плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всем его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, с вязом во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дергал розовые нити ее ланит, рвал нежную белую ткань и наконец добрался до ее сердца — вышитой пламенем нежной красной розы; и он сжег свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим...

БОЛЬШАЯ ИГРА МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ И БЕЛЫМИ

Трибуны за проволочной сеткой постепенно заполнялись людьми. Мы, дети, повывлезали из озера, с криками промчались мимо белых дачных домов и курортного отеля, а затем звонкоголосой ордой начали занимать места, помечая скамейки своими мокрыми ягодицами. Горячее солнце било сквозь кроны высоких дубов, стоявших вокруг бейсбольной площадки. Наши папы и мамы, в шортах, майках и летних платьях, шикали и кричали на нас, заставляя сидеть тихо и спокойно.

Все нетерпеливо посматривали на отель и особенно на заднюю дверь огромной кухни. По тенистой аллее, покрытой веснушками солнечных пятен, побежал табунок чернокожих женщин. Через десять минут вся левая трибуна стала пестрой от их цветастых платьев, свежeweымытых лиц и мелькавших рук. Даже сейчас, возвращаясь мыслями к тем далеким временам, я по-прежнему слышу звуки, которые они издавали. Теплый воздух смягчал тона, и каждый раз, когда они о чем-то говорили друг с другом, их голоса напоминали мне мягкое воркование голубей.

Публика оживилась в предчувствии скорого начала. Смех и крики поднимались вверх, в бездонное синее небо Висконсина. А потом дверь кухни раскрылась, и оттуда выбежала команда чернокожих парней — официанты, швейцары и повара, уборщики, лодочники и посудомойщики, уличные продавцы, садовники и рабочие с площадок для гольфа. Они выделяли забавные прыжки и скалили белые зубы, безумно гордые своими блестящими ботинками и новой формой в красную полоску. Прежде чем свернуть на

зеленую траву площадки, команда пробежала вдоль трибун, размахивая руками и приветствуя зрителей.

Мы, мальчишки, выражали свой восторг пронзительным свистом. Мимо нас проносились такие звезды, как Дылда Джонсон, работавший газонокосильщиком; Коротышка Смит, продававший газированную воду; Бурый Пит и Джиффи Миллер. А следом за ними бежал Большой По! Мы засвистели еще громче и захлопали в ладоши.

Большой По был тем добрым великаном, который продавал попкорн у входа в танцевальный павильон, — почти у самой кромки озера. Каждый вечер я покупал у него воздушную кукурузу, и он специально для меня подливал в аппарат побольше масла.

Я топал ногами и орал:

— Большой По! Большой По!

Он обернулся, помахал мне рукой и засмеялся, сверкая белыми зубами.

Мама быстро осмотрелась по сторонам и ткнула меня в бок своим острым локтем.

— Ш-ш-ш, — прошептала она. — Немедленно заткнись, кому я сказала!

— О Боже, Боже! — воскликнула мамина соседка, обмахиваясь сложенной газетой. — Для чернокожих это прямо какой-то праздник. Единственный день в году, когда наши слуги вырываются на свободу. У меня такое впечатление, что они все лето ждут большой игры между белыми и черными. Да что там игра! Посмотрели бы вы на их пирушку с танцами!

— Мы купили на нее билеты, — ответила мама. — И сегодня вечером идем в павильон. С каждого белого по доллару, представляете? Я бы сказала, это дорого для танцев.

— Ничего! Раз в году можно и раскошелиться, — пошутила женщина. — Между прочим, на их танцы действительно стоит посмотреть. Они так естественно держат... этот... Ну, как его?

— Ритм, — подсказала мама.

— Да, правильно, ритм, — подхватила леди. — Вот его они и держат. А вы видели этих чернокожих горничных в отеле? Они за месяц до игры ярдами покупали сатин в большом магазине Мэдисона и в свободное время шили себе платья. Однажды я видела, как некоторые из них выбирали перья для шляп — горчичные, вишневые, голубые и фиолетовые. О, это будет еще то зрелище!

— А их парни всю прошлую неделю проветривали свои пропахшие нафталином смокинги, — добавил я. — Там, на веревках за отелем, висело по несколько дюжин костюмов!

— Посмотрите на их гордую походку, — сказала мама. — Можно подумать, что они уже выиграли у наших ребят.

Чернокожие игроки разминались и подбадривали друг друга высокими звонкими голосами. Они, как кролики, носились по траве, подпрыгивали вверх и вниз и делали круговые махи руками.

Большой По взял охапку бит, взвалил их на огромное покатое плечо и, задирая от гордости подбородок, затрусил к линии первой базы. На его лице сияла улыбка. Губы напевали слова любимой песни:

...Вы будете танцевать, мои туфли,
Под звуки блюза «желе-ролл»;
Завтра вечером, в Городе чернокожих,
На балу веселых задавак!

Легонько приседая в такт мелодии, он размахивал битами, как дирижерскими палочками. На левой трибуне слышались аплодисменты и смех. Я взглянул туда, и у меня зарябило в глазах от цветастых одежд и быстрых грациозных движений. Юные трепетные девушки, сияя коричневыми глазами, нетерпеливо ожидали начала игры. Их смех походил на чириканье птиц. Они подавали знаки своим парням, а одна из них кричала:

— Ах, мой По! Мой милый и славный великан!

Когда Большой По закончил свой танец, белые трибуны отозвались умеренными аплодисментами.

— Bravo, По! — закричал я изо всех сил.

Мама треснула меня по затылку и сердито прошептала:

— Дуглас! Прекрати орать!

И тут на аллее появилась наша команда. Трибуны содрогнулись от шума и криков. Люди восторженно вскакивали с мест, размахивая руками, хлопая в ладоши и топая ногами. Белые парни в ослепительно белой форме выбежали на зеленую площадку.

— Смотри, там дядюшка Джордж! — сказала мама. — Ну разве он не великолепен?

Я взглянул на дядюшку Джорджа, который тащился в хвосте команды. Из-за большого живота и толстых щек, свисавших на воротник, он казался смешным и нелепым в спортивной форме. Дядя с трудом успевал дышать и

улыбаться в одно и то же время. А ведь ему еще приходилось бежать, перебирая толстыми короткими ногами.

— По-моему, наши ребята выглядят прекрасно, — с энтузиазмом продолжала мама.

Я промолчал, наблюдая за их движениями. Мать сидела рядом, и мне было ясно, что она тоже сравнивала их с черными парнями. Похоже, это сравнение удивило и расстроило ее. Негры бегали легко и плавно, как облака из снов, как антилопы и козы в замедленных кадрах фильмов про Африку. Там, на поле, они походили на стадо прекрасных животных, которые жили игрой, а не притворялись живыми. Беззаботно перебирая длинными ногами и помахивая полусогнутыми руками, эти парни улыбались ветру и небу и всем своим видом не кричали всем и каждому: «Смотрите, как я бегу! Смотрите на меня!» Наоборот! Они мечтательно говорили: «О Боже! Как прекрасен этот день. Как мягко пружинит земля под ногами. Мои мышцы послушны мне, и нет на свете лучшего удовольствия, чем бежать, бежать и бежать!» Их движения напоминали веселую песню. Их бег казался полетом небесных птиц.

А белые парни исполняли свой выход с обычным усердием деловых людей. Они относились к игре с таким же прагматизмом, как и ко всему остальному. Нам было неловко за них, потому что они вели себя не так. Парни поминутно косились по сторонам, выискивая тех, кто обращал на них внимание. Негров вообще не волновали взгляды толпы; настроившись на игру, они уже не думали ни о чем постороннем.

— Да, наши ребята выглядят просто замечательно, — печально повторила моя мама.

Однако она видела, насколько отличались две команды. Спортивная форма сидела на неграх как влитая. На их фоне белые парни казались переростками, надевшими детское белье. Я даже прыснул, представив, как они натягивали на себя эту узкую амуницию, которая теперь задиралась на животах и выползала из брюк.

Возможно, их напряженность начиналась именно отсюда.

Все прекрасно понимали, что происходило на поле. Люди качали головами, глядя на игроков, одетых, словно сенаторы, в белые костюмы. И, конечно, зрителей восхищала грациозная непосредственность чернокожих. Как всегда, это восхищение превращалось в зависть, ревность и раздражение, порождая массу реплик и оправданий. Я прислушался к разговору дам, сидевших за нами:

— Между прочим, третью базу будет защищать мой муж Том. Странно! Почему он не разминается? Я думаю, он мог бы присесть пару раз или подрыгать ногами. Стоит там прямо как кол!

— Ах, не волнуйтесь, милая. Он подрыгает ими, когда придет время!

— Вот и я того же мнения! Взять, к примеру, моего Генри. Он не может быть активным все время, но в опасные моменты... Да что там говорить! Если вы понаблюдаете за ним, то сами все увидите. Ах, как я хочу, чтобы он помахал мне рукой или сделал что-нибудь шальное. Эй, Генри! Я здесь! Я здесь!

— А посмотрите, как дурачится Джимми Коснер!

Я посмотрел. Этот рыжий парень с лицом, усеянным веснушками, действительно выделял всякие трюки. Поставив биту на лоб, он старался удержать ее в равновесии. На наших трибунах раздались жидкие аплодисменты и тихий смех, похожий на смущенное хихиканье. Так обычно смеются люди, когда им становится стыдно за поведение какого-то человека.

— Мяч в игру! — закричал судья.

Монетка взлетела в воздух, и черные парни выиграли право начинать игру.

— Черт бы их побрал, — прошептала мама.

Чернокожая команда освободила площадку.

Большой По вышел на ударную позицию. Я завопил от восторга, когда он поднял биту одной рукой — легко и лениво, словно зубочистку. Примерившись, гигант положил ее на покатое плечо и с широкой улыбкой повернул свое гладкое лицо к трибуне, где сидели чернокожие женщины. Их кремовые платья едва прикрывали бедра, а темные ноги в белых чулках походили на хрустящие имбирные палочки. Причудливо уложенные волосы свисали над ушами тонкими локонами. Но Большой По смотрел только на свою подружку Кэтрин — стройную и лакомую, как куриная ножка. Она работала горничной в отеле и каждое утро меняла в коттеджах постели. Кэт стучала в двери, словно птишка в окно, и вежливо спрашивала, как вам спалось и что снилось. Она просила отдать ей ваши ночные кошмары взамен на кучку свежего белья, «потому что простыни надо использовать только один раз, вот так-то, милый мальчик».

Увидев Кэт, Большой По расправил плечи и покачал головой, словно не верил тому, что она пришла взглянуть

на его игру. Помахивая битой, он повернулся к питчеру, и его левая рука свободно захлопала по бедру, пока противник делал пробные подачи. Мячи проносились мимо него со свистом, затыкая пасть ловушки белого кэтчера. Наш «хватала» принимал подачи ловко и довольно уверенно. Когда он отбросил назад последний принятый мяч, судья дал команду, и игра началась всерьез.

Большой По специально пропустил первую подачу.

— Четкий захват! — объявил судья.

Чернокожий гигант по-дружески подмигнул нашему питчеру. Банг!

— Второй захват! — закричал судья.

Мяч отбросили на третью подачу.

И тут Большой По превратился в непогрешимую и прекрасно смазанную бейсбольную машину. Левая рука обхватила конец биты, которая, со свистом рассекая воздух, ударила по мячу... Бац! Мяч взвился в небо и полетел к дубам с их шумевшей листвой, к далекому озеру, где по водной глади тихо скользила лодка с белым парусом. Толпа взревела, и я громче всех! Дядюшка Джордж побежал за мячом на своих толстых коротеньких ножках. Его фигура становилась все меньше и меньше.

Понаблюдав какое-то время за полетом мяча, Большой По начал свой триумфальный путь вдоль площадки. Он легкой трусцой пробежал все базы и на пути от третьей, счастливо улыбаясь, помахал рукой чернокожим девчонкам. Они с визгом вскочили на скамейки и замахали ему в ответ.

Через десять минут, после неудачных подач и бесполезных перебежек, команды поменялись местами. Большой По вновь вышел с битой на ударную позицию. Моя мама возмущенно сказала:

— Посмотрите, как они себя нагло ведут!

— Но это же только игра, — заступился я за негров. — Между прочим, у них уже два аута.

— При счете семь-ноль, — напомнила мама.

— Ничего, подождите немного, — сказала леди, сидевшая рядом с мамой. — Скоро будут бить наши парни. И тут уже черным их рост не поможет!

Она раздраженно согнала муху со своей бледной руки, покрытой синими венами.

— Второй захват! — крикнул судья, и Большой По размахнулся, приготовившись к настоящему удару.

— Всю эту неделю прислуга в отеле вела себя просто невыносимо, — сказала мамина соседка, не спуская глаз с Большого По. — Горничные только и знали, что болтали о своей пирушке с танцами. Когда вы требовали воду со льдом, они приносили ее вам через полчаса. Шитье тряпок стало им важнее, чем просьбы отдыхающих!

— Первый мяч! — произнес судья.

Женщина сердито зашипела.

— Я просто жду, не дождусь, когда эта проклятая неделя закончится, — сказала она.

— Второй мяч! — крикнул судья Большому По.

— Да его просто невозможно обыграть! — возмущенно воскликнула мама. — О чем они думали, когда соглашались на игру? — Повернувшись к соседке, она изменила тон и любезно сказала: — Вы правы. Они действительно стали какими-то странными. Вчера вечером мне дважды пришлось сказать этому верзиле, чтобы он добавил масла в мой попкорн. Я думаю, он хотел сэкономить на мне лишние деньги.

— Третий мяч! — прокричал судья.

Леди, сидевшая рядом с мамой, начала яростно обмахиваться газетой.

— Черт, я так и думала. Они выигрывают! Разве это не ужасно? Наши олухи ничего не могут сделать. Вот увидите, мы продаем им!

Моя мать обиженно отвернулась, посмотрела на озеро, на деревья, а потом на свои руки.

— Не знаю, зачем дяде Джорджу понадобилось участвовать в этой игре. Только выставляет себя в дурацком виде. Дуглас, мальчик мой, сбегай к нему и скажи, чтобы он немедленно покинул поле. При его больном сердце такие нагрузки просто недопустимы.

— Аут! — крикнул судья.

— О-о-о! — облегченно вздохнули трибуны.

Команды поменялись местами. Положив свою битую землю, Большой По зашагал вдоль площадки. Наши парни, с красными лицами и пятнами пота под мышками, раздраженно кричали друг на друга. Проходя мимо трибун, Большой По взглянул на меня, и я подмигнул ему тайком от мамы. Он тоже подмигнул мне в ответ. И тогда я понял, что По нарочно промахнулся.

Он выбил мяч в аут, чтобы дать нашим какой-то шанс.

На подачи вышел Дылда Джонсон. Он легкой походкой направился к кругу, разминая пальцы и сжимая кулаки.

Первым против него вышел парень по имени Кодимер. Насколько я знаю, он торговал в Чикаго пиджаками.

Дылда Джонсон кормил его подачами, как с тарелочки. Несмотря на точность, они были довольно скромными и не отличались особой силой.

Мистер Кодимер размахивал битой, словно косой. Раз за разом попадая по мячу, он в конце концов дотолкал его до линии третьей базы.

— Аут в первом круге, — закричал судья Махони.

Вторым с битой вышел молодой швед по имени Моберг. Он запустил высокую свечу в центр поля, но мяч подхватил маленький пухлый негр, который двигался по полю, как круглая капля ртути.

Третьим отбивал подачи коренастый водитель грузовика из Милуоки. Он отбросил линию защиты к центру площадки и наверняка добился бы успеха, если бы действовал немного побыстрее. На второй базе его поджидал Коротышка Смит. У нашего игрока имелось небольшое преимущество. Но, к сожалению, мяч оказался в черной, а не белой руке.

Мама откинулась на спинку скамьи и вздохнула:

— Черт! Мне это уже не нравится!

— Да, становится жарко, — отозвалась ее соседка. — Я лучше пойду прогуляюсь по берегу озера. Что толку сидеть на этой жаре и смотреть на дурацкие забавы мужчин. Не хотите составить мне компанию?

Последовало еще пять подач.

При счете одиннадцать-ноль Большой По нарочно промазал три раза по мячу, и во второй половине пятой смены за нашу команду вышел играть Джимми Коснер. Он вел себя как шеф: кричал, давал советы, указывал, кому и где стоять. Коснер перепробовал шесть бит, критично осматривая их маленькими зелеными глазами. Выбрав наконец одну, он отбросил остальные и не спеша направился к кругу, выдирая шипованными бутсами маленькие пучки травы из покрытия. Раздуваясь от самодовольства, он сдвинул кепку на затылок, пригладил рукой запыхавшиеся рыжие волосы и закричал сидевшим на трибунах леди:

— Эй, смотрите сюда! Сейчас я задам этим черным перцу!

Дылда Джонсон, изображая испуг, прикрыл лицо рукой. Он изогнулся всем телом, словно змея на ветке, которая вот-вот бросится. Внезапно его рука метнулась вперед;

ладонь в перчатке раскрылась, как черная пасть, и белый мяч со свистом влетел в ловушку.

— Четкий захват!

Опустив биту, Джимми Коснер уставился на судью. Он осуждающе покачал головой, потом с вызовом плюнул под ноги Дылды и, приподняв свою кленовую биту, крутанул ею так, что солнце превратило ее в сияющую молнию. Потом пригнулся и выставил вперед плечо. Его рот открылся, демонстрируя длинные прокуренные зубы.

Клап! Ловушка проглотила мяч.

Коснер повернулся и с удивлением посмотрел на Дылду Джонсона. Тот, словно маг, сверкнул белозубой улыбкой, открыл перчатку, и на ней, как цветущая лилия, забелел бейсбольный мяч.

— Второй захват! — объявил судья.

Джимми Коснер отбросил биту и шлепнул себя руками по бедрам.

— Ты хочешь сказать, что этот удар засчитан?

— Именно это я и сказал, — ответил судья. — Подними биту.

— Чтобы треснуть тебя по черепу? — съязвил Джимми Коснер.

— Или играй, или иди в душ!

Поработав челюстями, Коснер поднакопил слюны для плевок, но потом сердито проглотил ее и шепотом выругался. Он пригнулся, поднял биту и опустил ее на плечо, как ружье.

А потом пошла третья подача! Маленький мяч увеличился в размерах, пролетая мимо него. Пу-у-у! Желтая бита сверкнула молнией, и белое пятнышко понеслось к лазурным небесам. Джимми бросился к первой базе. Мяч приостановился в воздухе, будто вспомнив о законе гравитации. На берег озера накатила волна, и в наступившей тишине все услышали, как она зашипела на песке и гальке. И тут толпа, не выдержав, взревела. Джимми мчался вперед под шквалом свиста и воплей. А мяч к тому времени решил вернуться на землю. Гибкий и рослый Коснер бежал изо всех сил, протягивая к нему цепкие руки.

Мяч упал на дерн, несколько раз подскочил и покатился к первой базе. Джимми понял, что не успел. В отчаянии и злости он прыгнул ногами вперед, и все увидели, как шипы его ботинок вонзились в лодыжку Большого По. Прежде

чем поднялось облако пыли, все увидели кровь и услышали крик.

— Я играл по правилам! — оправдывался Джимми через две минуты.

Большой По сидел на траве. Вся команда чернокожих собралась вокруг него. Доктор склонился к ноге, ощупал лодыжку и сказал: «Ого!», а потом задумчиво добавил: «Выглядит довольно мрачно! Особенно вот здесь!» Промыв рану какой-то жидкостью, он начал перевязывать ее белым бинтом.

Судья бросил на Коснера холодный взгляд:

— Иди в душ!

— Какого черта! — возмутился Джимми.

Он стоял в центре первой базы и, раздувая щеки, махал руками, как ветряная мельница.

— Я все делал правильно! И я останусь здесь, черт бы вас побрал! Ни один ниггер не выведет меня из игры!

— Но это спокойно сделает белый, — ответил судья. — Я удаляю тебя с поля. Вон отсюда!

— Он шел на мяч! Почитай лучше правила, Махони! Я действовал как надо!

Какое-то время судья и Коснер стояли друг перед другом и обменивались сердитыми взглядами.

Сжимая руками распухшую лодыжку, Большой По поднял голову и без всякой злобы посмотрел на Джимми Коснера.

— Наверное, этот парень прав, мистер судья, — сказал он мягким и сочным басом. — Не удаляйте его с поля.

А я стоял рядом с ним и ловил каждое слово. Я и несколько других мальчишек выбежали на поле, чтобы послушать их перебранку. Мать кричала мне с трибуны и грозила кулаком, но меня это нисколько не пугало.

— Он играл по правилам, — повторил Большой По.

Черные парни подняли крик.

— Что за дела, братан? Ты что, упал на голову?

— А я говорю, что он играл по правилам, — ответил По и посмотрел на доктора, который бинтовал ему ногу. — Оставьте его в игре.

Махони прорычал проклятие.

— Ладно. Раз у вас нет претензий... Будем считать, что он прав.

Махнув рукой, судья отошел в сторону. Его плечи приподнялись, спина сгорбилась, а шея стала красной.

Большому По помогли подняться.

— Лучше не наступай на нее, — посоветовал доктор.

— Но я могу ходить, — шепотом ответил По.

— Не играй, парень, иначе будет хуже!

— Но я должен играть, — качая головой, настаивал По. На его щеках виднелись мокрые полоски от слез. — Я должен продолжать игру! — Он старался не смотреть на своих друзей. — И клянусь, я буду играть очень хорошо.

— О-о-о! — произнес черный парень, стоявший на второй базе.

Мне этот возглас показался довольно забавным.

Чернокожие посмотрели друг на друга, на Большого По и Джимми Коснера, на небо, озеро и толпу. Потом без лишних слов разошлись по своим местам, а Большой По попрыгал на раненой ноге, показывая, что может продолжать игру. Доктор начал спорить, но огромный негр махнул на него рукой. Судья откашлялся и громко прокричал:

— Приготовиться к игре! Посторонним убраться с поля!

Мы, мальчишки, побежали к трибунам. Мама ущипнула меня за ногу и спросила, почему я не могу сидеть спокойно.

Солнце поднималось из-за крон деревьев, и люди все чаще посматривали на озеро и прохладные волны. Леди обмахивались газетами и вытирали платочками потные лица. Мужчины ерзали на скамейках и, приставив ладони к нахмуренным бровям, следили за Большим По и Джимми Коснером, который стоял перед негром, как лилипут в тени огромного мамонтового дерева.

От нашей команды с битой вышел молодой Моберг.

— Давай, швед! Сделай их! — раздался чей-то возглас, одинокий и жалкий, как крик напуганной птицы.

Конечно же, это кричал Джимми Коснер. Зрители неодобрительно зашумели. Девушки в цветастых платьях уставились на его нервно выгнутую спину. Чернокожие игроки презрительно качали головами. На какой-то миг Джимми стал центром всей Вселенной.

— Давай, швед! Покажи этим черным ублюдкам! — громко повторил он и засвистел, краснея от натуги.

Стадион ответил ему гробовой тишиной. Только ветер шумел листвою высоких деревьев.

— Давай, швед! Всади им пиллюлю...

Дылда Джонсон встал на место питчера и набычился. С усмешкой посмотрев на Коснера, он быстро переглянулся с Большим По. Джимми заметил этот взгляд и тут же заткнулся, судорожно сглотнув слюну. А Джонсон провел

защиту с преимуществом и остался подавать при нападавшем Коснере.

Коснер шагнул к сумке, вытащил свою битую и, чмокнув кончики пальцев, прилепил поцелуй к центру мешка. Потом он осмотрел трибуны и самодовольно рассмеялся.

Питчер взмахнул рукой, стиснул в кулаке белый мяч и отвел руку назад, готовясь к броску. Коснер затанцевал на своей позиции у базы. Он то приседал, то поднимался, чем очень напоминал одетую в костюмчик цирковую мартышку. Джонсон поглядывал на него исподтишка, и в его глазах сверкали веселые искры. Покачивая головой, он опустил руку с мячом, что означало потерю одной подачи. Коснер презрительно сплюнул в траву.

Дылда Джонсон приготовился к новому броску. Коснер присел, замахиываясь битой. Мяч вырвался из руки питчера, и бита со звонким ударом отправила его к первой базе.

На какой-то миг все замерло и остановилось — сиявшее солнце в небе, озеро и лодки на нем, трибуны, питчер с вытянутой рукой и Большой По, поймавший мяч широкой ладонью. Игроки застыли на поле, пригнувшись или вытянув шеи. И только Джимми бежал, взбивая ногами пыль, — единственный, кто двигался во всем этом мире.

Внезапно Большой По пригнулся вперед, повернулся ко второй базе и, взмахнув могучей рукой, метнул белый мяч в подбегавшего Джимми. Тот угодил Коснеру прямо в лоб.

Чары всеобщего оцепенения разрушились, и на этом игра закончилась.

Джимми Коснер лежал пластом на выгоревшей траве. Люди на трибунах негодовали. Повсюду раздавались проклятия и брань. Женщины кричали, топая ногами. Мужчины сбегали вниз по ступеням лестниц, а кое-где и по скамейкам. Команда чернокожих торопливо покидала поле. К Джимми спешили доктор и двое его помощников, а Большой По хромя пробиравшись сквозь толпу кричавших белых мужчин, расталкивая их, как деревянные кегли. Он просто хватал этих парней и отбрасывал в сторону, когда они пытались преградить ему дорогу.

— Идем, Дуглас! — строго сказала мама, сжимая мою ладонь. — Немедленно домой! У них же могут быть бритвы! О Боже! Какой ужас!

Тем вечером, напуганные парой уличных драк, мои родители решили остаться дома и провести время за чтением журналов. Коттеджи вокруг нас сияли огнями, и все соседи

тоже сидели по домам. Издалека, со стороны озера, доносились музыка. Выскользнув через заднюю дверь в темноту летней ночи, я побежал по аллее к танцевальному павильону. Меня манили разноцветные огоньки электрических гирлянд и громкие звуки медленного блюза.

Однако, заглянув в окно, я не увидел за столиками ни одного белого. Никто из наших не пришел на их пирушку.

Там сидели только чернокожие. Женщины были одеты в ярко-красные и голубые сатиновые платья, ажурные чулки, перчатки и шляпы с перьями. Мужчины вырядились в свои лоснившиеся костюмы и лакированные туфли. Музыка рвалась из окон и уносилась к далеким берегам заснувшего озера. Она плескалась волнами, вскипая от смеха и стука каблучков.

Я увидел Дылду Джонсона, Каванота и Джиффи Миллера. Рядом танцевали с подругами Бурый Пит и хромавший Большой По. Они веселились и пели — швейцары и лодочники, горничные и газонокосильщики. Над павильоном сияли звезды, а я стоял в темноте и, прижимая нос к стеклу, смотрел на этот радостный, но чужой мне праздник.

Потом я отправился спать, так и не рассказав никому о том, что увидел.

Лежа в темноте, пропахшей спелыми яблоками, я слушал тихий плеск далеких волн и мелодию прекрасной песни. Перед тем как сон закрыл мои глаза, мне вспомнился последний куплет:

...Вы будете танцевать, мои туфли,
Под звуки блюза «желе-ролл»;
Завтра вечером, в Городе чернокожих,
На балу веселых задавак!

И ГРЯНУЛ ГРОМ

Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:

А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ

В глотке Экельса скопилась теплая слюна; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари* живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлом. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять», значит — не стрелять. Не выполните его распоряжения, по возвращении заплатите штраф — еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время

A Sound of Thunder
© Л. Жданов, перевод, 1964

* Охотничья экспедиция.

горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы уладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...

— Черт возьми, — выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины. — Настоящая Машина времени! — Он покачал головой. — Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава Богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно, — отозвался человек за конторкой. — Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись, — шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год. Да только не наше это дело — побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра, — закончил фразу Экельс.

— *Tyrannosaurus rex*. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения:

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов

лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.

Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха ни пера, — сказал человек за конторкой. — Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокошущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019-й! 1999-й! 1957-й! Мимо! Машина ревела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник — Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь, — ответил в наушниках Тревис. — У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи, — произнес Экельс. — Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменялся ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис. — Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат

в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников Компанией. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну, так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — миллиард мышей!

— Хорошо, они сдохли, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью

лисами меньше — подойдет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, — не просто один человек, нет! Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. Никогда не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экельс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на Время. А если и в состоянии — то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше — к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем — только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным.

Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом Времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я отслеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. И когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спастись. Видите, насколько мы осторожны?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы, мистер Экельс, — обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну все, — отрезал Тревис. — Встали!

Пора было выходить из Машины.

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе — это летели,

будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел:

— Где же наш *Tyrannosaurus*?

Лесперанс взглянул на свои часы:

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради Бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно, — пробормотал Экельс. — Перед нами — шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис. — Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит Бог — это совсем другое дело, — произнес Экельс. — Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо, — сказал Тревис.

Все остановились.

Тревис поднял руку.

— Впереди, — прошептал он. — В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился *Tyrannosaurus rex*.

— Силы небесные, — пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекilограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скольльзящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытянется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Он еще не заметил нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рявкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кру-гом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробежали волны,

даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг-другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревушую глотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Tyrannosaurus. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе; им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрался до Машины.

Подождал Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый, — мертвый вес — раздавил тонкие руки, прижатые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам: — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. — Вы не вернетесь с Машиной. Вы останетесь здесь!

Лесперанс перехватил руку Тревиса.

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис стряхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один Бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем знать? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!

Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, убоженок несчастный. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, горе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Лесперанс.

— Напрасно! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492-й. 1776-й. 1812-й.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не глядите на меня, — вырвалось у Экельса. — Я ничего не сделал.

— Кто знает...

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999-й. 2000-й. 2055-й.

Машина остановилась.

— Выходите, — скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О'кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадитесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис. — Что вы там такое увидели?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая, на стенах, мебели, в небе за окном — они... они...

да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бежали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не тем человеком) у перегородки (которая была не той перегородкой) — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

**А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ
АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ**

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!

На комке было отливающее зеленою, золотом и чернью пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за такой малости! Из-за бабочки! — закричал Экельс.

Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие последствия? Невозможно!

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул:

— Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик, Кейт? Теперь у власти железный человек! — Служащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.

И грянул гром.

ОГРОМНЫЙ-ОГРОМНЫЙ МИР ГДЕ-ТО ТАМ

Это был такой день, когда невозможно улежать в постели, когда необходимо раздернуть шторы и распахнуть настежь все окна. День, в который сердце словно вырастает в груди от теплого горного ветра.

Кора села на постели, чувствуя себя девочкой в старом измятом платье.

Было еще рано, солнце только показалось из-за горизонта, но птицы уже затеяли переполох в сосновых ветвях, и десять биллионов красных муравьев уже деловито сновали по бронзовой куче муравейника у дверей домика. Муж Кору, Том, был еще погружен в спячку в белоснежной берлоге постели. «И как это стук моего сердца его не разбудил?» — удивилась Кора.

И тут же вспомнила, почему сегодня — особый день.

«Сегодня придет Бенджи!»

Она представила себе, как он, еще далеко-далеко, вприпрыжку несется сюда по зеленым лугам, переходит вброд ручьи, по которым весна, перемешав зимний ил и чистую воду, пробивается к морю. Она видела, как его большие башмаки пылят по дорожной щебенке. Она видела его поднятую к солнцу веснушчатую физиономию, видела его долговязую нескладную фигуру, беззаботно размахивающую руками на бегу.

«Ну, скорее же, Бенджи!» — мысленно взмолилась она и распахнула окно. Ветер взъерошил ей волосы, и они серебристой паутинкой упали на глаза. Сейчас Бенджи уже на Железном мосту, а сейчас уже на Верхнем пастбище, а сейчас он поднимается по Речной тропе, бежит через луг Челси...

Бенджи уже там, в горах Миссури. Кора прикрыла глаза. В этих чужих горах, через которые они с Томом дважды в год ездили в город в фургоне, запряженном кобылой; в горах, от которых она тридцать лет назад хотела сбежать навсегда. Тогда она сказала Тому: «Томми, давай лучше будем ехать все прямо и прямо, пока не увидим моря». Но он посмотрел на нее так, словно она его ударила, и лишь молча повернул фургон домой и всю дорогу назад только с кобылой и разговаривал. Есть ли еще люди, живущие на побережье, где каждый день то громче, то тише шумит прилив, Кора этого не знала. И есть ли еще города, где каждый вечер фейерверками розового льда и зеленой мяты вспыхивает неон, она тоже уже не знала. Ее горизонт — север, юг, восток и запад — замыкался на этой долине — и ничего больше, за всю жизнь.

«Но сегодня, — подумала она, — Бенджи придет из того мира, придет оттуда; он его видел, он ощущал его запахи, и он мне о нем расскажет. И еще он умеет писать. — Она посмотрела на свои руки. — Он будет здесь целый месяц и всему меня научит. И тогда я смогу написать туда, в большой мир, чтобы заманить его в почтовый ящик, который я сегодня же заставлю Тома сделать».

— Том, подымайся! Слышишь? — И она стала расталкивать храпящий сугроб.

В девять, когда кузнечики устроили на лугу чехарду в синем, пахнущем хвоей воздухе, к небу поплыл дымок.

Кора, напевая, начищала горшки и сковородки, любуясь своим отражением на их медных боках, — более свежим и загорелым, чем ее морщинистое лицо. Том ворчал сонным медведем над маисовой кашей, и песенка жены порхала вокруг него, словно птичка, бьющаяся в клетке.

— Кто-то тут очень счастлив, — раздался голос.

Кора превратилась в статую. Краем глаза она заметила длинную тень, упавшую на пол.

— Миссис Браббам? — спросила Кора, не отрывая глаз от тряпки.

— Она самая! — и перед ней предстала леди Вдова, отряхивающая теплую пыль с пестрого бумажного платья пачкой писем, зажатых в цыплячьей лапке. — С добрым утром! Я ходила забирать почту. Дядя Джордж из Спрингфилда так меня порадовал! — Миссис Браббам вонзила в Кору пристальный взгляд, словно серебряную булавку. — А когда вы в последний раз получали письма от своего дяди, миссис?

— Все мои дяди уже умерли. — Это сказала не Кора, а ее язык, который солгал. Но она знала, что, когда придет время, только ему и придется отвечать за все его грехи.

— Очень приятно получать письма, знаете ли. — Миссис Браббам в упоении помахала пачкой конвертов.

Вот всегда ей надо повернуть нож в ране. Сколько уже лет, подумала Кора, все это длится: миссис Браббам, ехидно поглядывая, орет на весь мир, что получает письма, намекая этим на то, что никто кроме нее на многие мили вокруг не умеет читать. Кора закусила губу и чуть не уронила горшок, но вовремя его подхватила и улыбнулась:

— Совсем забыла вам сказать: приезжает мой племянник Бенджи. У его родителей денежные затруднения, и он проживет часть лета у меня. Он будет учить меня писать. А Том уже сделал для нас почтовый ящик. Правда, Том?

Миссис Браббам прижала свои письма к груди:

— Что ж, чего уж лучше! Повезло вам, леди! — И дверной проем мгновенно опустел. Миссис Браббам и след пропал.

Кора вышла за ней. И вдруг увидела что-то похожее на пугало, на яркий солнечный луч, на пятнистую форель, прыгающую вверх по течению через плотину высотой в ярд. Она увидела, как от взмаха длинной руки во все стороны из кроны дикой яблони порхнули перепуганные птицы.

Кора рванулась вперед по тропинке, ведущей к дому, и весь мир рванулся к ней навстречу.

— Бенджи!

Они побежали навстречу друг другу, как партнеры в субботнем танце, обнялись и закружились в вальсе, перебивая друг друга.

— Бенджи! — Кора бросила быстрый взгляд на его ухо. Да, за ним был заткнут желтый карандаш. — Бенджи! Добро пожаловать!

— Ой, миссис! — Он отстранил ее от себя. — Чего ж вы плачете-то?

— Это мой племянник, — сказала Кора.

Том бросил угрюмый взгляд поверх ложки с кашей.

— Наше вам, — улыбнулся Бенджи.

Кора крепко держала его за руку, чтобы он никуда не исчез. У нее кружилась голова; ей одновременно хотелось присесть, вскочить, бежать куда-то, но она оставалась на месте, позволив лишь сердцу громко колотиться в груди и

пытаясь спрятать счастливую улыбку, в которой ее губы сами расплывались. В одну секунду все дальние страны оказались ближе; рядом с ней стоял долговязый мальчик, освещающий комнату своим присутствием, словно факел из сосновой ветви; мальчик, который своими глазами видел все эти города, моря и другие места, когда у его родителей дела шли получше.

— Бенджи, сейчас я принесу тебе завтрак: бобы, маис, бекон, кашу, суп и горошек.

— Чего суетишься! — буркнул Том.

— Помолчи, Том. Мальчик голоден как зверь после дальней дороги. — Она повернулась к племяннику: — Бенджи, расскажи мне о себе все. Ты правда ходил в школу?

Бенджи скинул ботинки и пальцем ноги написал в золе очага одно слово.

— И что это значит? — исподлобья взглянул Том.

— Это значит, — ответил Бенджи, — кэ-и-о-и-рэ-и-а — Кора.

— Это мое имя, ну посмотри же, Том! Бенджи, детка, как это здорово, что ты умеешь писать! Как-то здесь у нас жил мой двоюродный брат, который утверждал, что знает грамоту вдоль и поперек. Ну, мы его всячески ублажали, лишь бы он писал для нас письма, вот только ответов мы никогда не получали. Лишь потом выяснилось, что его грамоты хватало только для того, чтобы все письма шли аккуратно в корзину для невыявленных адресатов. Боже, Том выдернул из забора жердину и давай гонять его по дороге, да так, что, наверное, согнал с него все жиры, которые он тут нагулял за два месяца.

Все громко расхохотались.

— Я хорошо умею писать, — серьезно сказал парнишка.

— Это все, что нам хотелось знать. — И она подвинула ему кусок пирога с ягодами: — Ешь.

В половину одиннадцатого, когда солнце поднялось еще выше, вдоволь наглядевшись на то, как Бенджи с жадностью очищает кучу тарелок со всякой снедью, Том с грохотом встал и, нахлобучив шляпу, вышел.

— Я ухожу. И, ей-Богу, свалю половину леса! — в ярости бросил он на прощание.

Но его никто не услышал. Кора замерла, не дыша, впившись взглядом в карандаш, торчавший из-за покрытого нежным пухом, словно персик, уха Бенджи. Она созерцала, как он лениво, небрежно и равнодушно берет его в руку.

«Не надо так небрежно! — мысленно вскрикнула она. — Держи его, словно яйцо малиновки!» Ей хотелось дотронуться до карандаша — она не прикасалась к карандашам уже много лет, потому что сначала они заставляли ее почувствовать себя глупой, затем приводили в бессильную ярость, а потом вызывали лишь чувство печали. Она никак не могла заставить свои руки спокойно лежать на коленях.

— А бумага есть? — спросил Бенджи.

— Ой, батюшки, а я и не подумала! — выдохнула она, и в комнате сразу помрачнело. — И что ж теперь делать?

— Вам повезло, у меня есть с собой. — Он достал из рюкзака блокнот. — Так куда вы хотите написать?

Она беспомощно улыбнулась:

— Я хотела написать в... в... — И, сникнув, оглянувшись, словно пытаясь взглядом найти хоть кого-нибудь далеко-далеко отсюда.

Она смотрела на горы, залитые солнечным светом. Она слышала шум набегающих на желтый песчаный берег волн, в тысяче миль отсюда. Над полем возвращалась с севера стая птиц, пролетевших над множеством городов, безразличных к тому, что было так необходимо ей в этот момент.

— Бенджи, я как-то об этом не думала. Я не знаю ни одного человека там, в большом мире. Ни одного, кроме моей тетки. Но если я ей напишу, я только прибавлю ей хлопот, заставив ее искать кого-нибудь, кто ей его прочтет. А она носит свою гордость, словно корсет из китового уса. Да она лет десять будет переживать из-за письма, лежащего на каминной полке. Нет, ей я писать не буду. — Кора оторвала взгляд от гор и невидимого океана. — Но тогда — кому? Куда? Да кому угодно. Мне просто хотелось бы получить несколько писем.

— Держите. — Бенджи выудил из кармана пальто дешевый журнал. На его красной обложке не одетая красавица убегала от зеленого чудовища. — Здесь навалом адресов на любой вкус.

Они вместе пролистали его весь от корки до корки.

— Это что? — спросила Кора, ткнув пальцем в одно из объявлений.

— «ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНО ПРОСПЕКТЫ “ПАУЭР ПЛЮС”. Пришлите нам заказ с обратным адресом и фамилией, в Департамент М-3, — прочел Бенджи, — и вы получите Карту здоровья бесплатно».

— А что здесь?

— «ДЕТЕКТИВЫ ПРОВЕДУТ ЛЮБЫЕ ТАЙНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Заявки посылайте по адресу: Главпочтамт, для Школы детективов...»

— Все бесплатно. Отлично, Бенджи. — Она глазами показала ему на карандаш.

Мальчик пододвинул стул поближе к столу. И Кора, вновь замерев, очарованно следила, как он примеривается взять карандаш поудобнее. Вот он легонько прикусил кончик языка. Вот он прищурился. Она перестала дышать и подалась вперед. И сама тоже прищурилась и закусила кончик языка.

А теперь, теперь он поднял карандаш, лизнул его и опустил на бумагу.

«Вот оно!» — стукнуло сердце Кору.

Первые слова. Они медленно стали появляться на девственной белизне листа. «Дорогая компания “Пауэр Плюс”, господа...» — писал он.

Утро упорхнуло вместе с ветром, утро проплыло по речушке, утро улетело с компанией ворон, и на крыше дома разлегся солнечный полдень. За сияющим ослепительным светом прямоугольником дверей послышались шаркающие шаги, но Кора даже не обернулась. Том был здесь, но его не было; не было вообще ничего, кроме стопки исписанных листков и шепота карандаша в руке Бенджи. Она водила носом за каждым кружком «о», за каждой «л», за каждым миниатюрным горным хребтом «м»; каждую крохотную точку она отмечала, клонув носом, словно цыпленок; каждое перекрестие «х» заставляло ее облизывать верхнюю губу.

— День на дворе, и я жрать хочу! — сказал Том у нее над ухом.

Но Кора превратилась в статую, вперившую взор в карандаш, словно человек, в трансе следящий за неимоверно смелой попыткой улитки пересечь плоский камень с утра пораньше.

— Время обедать! — рявкнул над ухом Том.

Кора словно проснулась:

— Как? Мы же всего минуту назад писали в эту... Филадельфийскую нумизматическую компанию — я правильно сказала, Бенджи? — И Кора расцвела улыбкой, даже слишком обольстительной для ее пятидесяти пяти лет. — Пока

ты ждешь харчей, Том, может, сколотишь почтовый ящик? Только побольше, чем у миссис Браббам, а?

— Сгодится и коробка для обуви.

— Том Джиббс. — Она порывисто встала. В ее улыбке явно читалось: «Кто не работает, тот не ест». — Я хочу очень большой и красивый ящик. Белый-белый, и чтобы Бенджи написал на нем большими черными буквами нашу фамилию. Я не желаю доставать мое первое настоящее письмо из картонки для обуви.

И все было сделано, как она хотела.

Бенджи, довершая великолепие нового почтового ящика, тщательно вывел: «МИССИС КОРА ДЖИББС». Том, наблюдавший за ним, пробурчал:

— И что здесь написано?

— «Мистер Том Джиббс», — спокойно ответил Бенджи, старательно подмалевывая буквы.

Том моргнул, полюбовался с минуту, а потом заявил:

— Я все еще хочу жрать! Разведет хоть кто-нибудь огонь?

Марок в доме не было. Кора сразу осунулась. Тому пришлось запрягать кобылу и ехать в Грин Форк, чтобы купить несколько красных, зеленых и обязательно десять розовых марок с нарисованным на них важным джентльменом. Но Кора поехала вместе с ним, чтобы быть уверенной, что он не выбросит эти письма в первую попавшуюся канаву. Когда они вернулись домой, первое, что она сделала, — это с пылающим лицом заглянула в свеженький почтовый ящик.

— Ты что, спятила? — фыркнул Том.

— Проверить не вредно.

В этот вечер она еще шесть раз ходила к ящику. На седьмой из него выпорхнул птенец вальдшнепа. Том, стоя в дверях, с хохотом колотил себя по коленям. Кора тоже рассмеялась и загнала его в дом.

А потом она стояла у окна, любуясь почтовым ящиком, прибитым прямо напротив ящика миссис Браббам. Десять лет назад леди Вдова воткнула свой прямо у Кору перед носом, несмотря на то что могла повесить его у своих входных дверей. Но это зато давало возможность миссис Браббам каждое утро проплывать, словно цветок по реке, вниз по дорожке и опустошать свой ящик, намеренно громко кашляя и шурша письмами, временами поглядывая, смотрит

ли на нее Кора. А Кора всегда смотрела. Но когда ее на этом ловили, она тут же притворялась, что поливает цветы из пустой лейки или ищет грибы поздней осенью.

На следующее утро Кора поднялась задолго до того, как солнце согрело клубничные грядки, а ветерок успел рас-трепать кудри сосен. Когда Кора вернулась от почтового ящика, Бенджи уже проснулся.

— Слишком рано, — сказал он. — Почтальон еще не про-езжал.

— Проезжал?

— В такую даль они ездят на машинах.

— О! — Кора опустилась на стул.

— Тетя Кора, вам плохо?

— Нет-нет. — Она прищурилась. — Просто я не могу вспомнить, видела ли за последние двадцать лет тут поч-товый фургон. До меня только сейчас дошло: за все это время я не видела здесь ни одного почтальона.

— Может, он проходил, когда вас не было?

— Я встаю с утренним туманом и ложусь спать с цып-лятами. Я никогда раньше об этом не задумывалась, но... — Она обернулась и бросила в окно взгляд на дом миссис Браббам. — Бенджи, у меня появилось кое-какое подозре-ние.

Она встала и целенаправленно зашагала напрямиком к почтовому ящику вдовы. Бенджи увязался за ней. Кругом в полях и горах царил тишина. Было так рано, что хотелось говорить только шепотом.

— Тетя Кора, не нарушайте закон.

— Тс-с-с! Вот они! — Она запустила руку в ящик, словно в нору суслика. — Вот. И еще. — Она сунула ему несколько писем.

— Но они же уже вскрыты! Это вы их распечатали, тетя Кора?

— Детка, я никогда в жизни к ним не прикасалась, — сказала она с каменным лицом. — Первый раз в жизни я позволила своей тени коснуться этого ящика.

Бенджи рассмотрел письма и, покачив головой, прошеп-тал:

— Тетя Кора, да этим письмам уже лет десять!

— Что?!

— Тетя Кора, эта леди уже годами получает одно и то же. К тому же они адресованы вовсе не миссис Браббам, а какой-то Ортега из Грин Форк.

— А, Ортега, мексиканка из бакалейной лавки! Все эти годы... — прошептала Кора, глядя на потертые конверты. — Все эти годы...

Они обернулись к дому миссис Браббам, мирно спящему в прохладе раннего утра.

— Так эта ловкачка затеяла всю эту возню лишь для того, чтобы умалить меня. Как она раздувалась от гордости, несясь на всех парусах читать свои письма!

Дверь миссис Браббам отворилась.

— Валите их назад, тетя Кора!

Кора с быстротой молнии захлопнула ящик.

Миссис Браббам медленно спускалась по дорожке, там и сям останавливаясь, чтобы полюбоваться цветочками.

— С добрым утром! — приветливо сказала она.

— Миссис Браббам, это мой племянник Бенджи.

— Очень приятно. — И миссис Браббам, неестественно развернувшись, с демонстративной тщательностью опорожнила ящик, постучав мучнисто-белой рукой по дну, чтобы ни одно письмо не застряло, прикрывая, однако, свои манипуляции спиной. Затем она всплеснула руками и повернулась к ним, задорно подмигнув: — Замечательно! Вы только поглядите, что мне пишет мой дорогой дядюшка Джордж!

— Ну да, куда как замечательно! — сказала Кора.

Затем потянулись знойные летние дни ожидания. Оранжевые и голубые бабочки порхали в воздухе, цветы около дома кивали головками, и карандаш Бенджи дни напролет сухо и деловито шуршал по бумаге. Рот парнишки всегда был набит чем-то вкусным, а Том мрачно бил копытами, обнаруживая, что его обед или ужин либо опаздывали, либо уже остыли, либо и то и другое вместе, а то и вообще не готовились.

Бенджи, нежно держа карандаш худыми пальцами, любовно выписывал каждую гласную и согласную, а Кора не отходила от него ни на шаг, составляя их в слова, помогая себе языком и наслаждаясь каждой секундой созерцания того, как они появляются на бумаге. Но писать сама она не училась.

— Смотреть, как ты пишешь, так приятно, Бенджи! Я возьмусь за учебу завтра. А пока нагни следующее письмо.

Они уже написали по объявлениям об астме, бандажах и магии, вступили в «розенкрейцеры» или, по крайней мере, выслали запрос на «Книгу за семью печатями», хранившую сокровенное, давно позабытое Знание и открывавшую тайны сокрытых древних храмов и разрушенных святилищ. И еще они заказали пакетики с семенами гигантских подсолнухов и справочник «Все об изжоге». Ясным солнечным утром они трудились над 127-й страницей журнала «Рышущий убийца», как вдруг...

— Слышишь? — встrepенулась Кора.

Они прислушались.

— Машина, — сказал Бенджи.

Над голубыми горами, сквозь нагретые солнцем кроны высоких зеленых сосен, вдоль по пыльной дороге, миля за милей, приближался шум мотора машины, подъезжающей все ближе и ближе, пока под конец не превратился в рев. Кора бросилась опрометью к дверям и, пока она бежала, успела заметить, услышать и почувствовать так много всего. Но в первую очередь она уголком глаза отметила миссис Браббам, величаво плывущую по дорожке с другой стороны. Увидев светло-зеленый фургон, несущийся на полной скорости, миссис Браббам застыла на месте; а затем раздалась трель серебряного свистка, и представительный старик, взглянув из кабины, спросил подбежавшую Кору:

— Вы миссис Джиббс?

— Да! — звонко крикнула она.

— Ваша почта, сударыня, — сказал он, достав стопку конвертов.

Кора протянула было руку, но, вспомнив, отдернула ее.

— Извините. — Она замялась. — А не будете ли вы столь любезны положить их... Ну пожалуйста, положите их в мой почтовый ящик сами.

Старик сощурился, потом искоса взглянул на ящик, потом снова на нее и рассмеялся:

— Да чего уж там! — и сделал именно так, как надо, положив письма в ящик.

Миссис Браббам ошалевшими глазами следила за ними, так и не двигаясь с места.

— А у вас есть почта для миссис Браббам? — спросила Кора.

— Нет, это все. — И машина запыхтела по дороге дальше.

Миссис Браббам стояла, прижав руки к груди. Затем развернулась и, так и не заглянув в свой ящик, быстро скользнула по тропинке вверх и скрылась из глаз.

Кора дважды обошла вокруг ящика, оттягивая момент, когда она его откроет.

— Бенджи, вот я и получила письма!

Она осторожно залезла рукой вовнутрь, достала их и мягко вложила в руку племянника.

— Почитай их мне. А что, на конверте указано мое имя, да?

— Да, мэм. — Он с превеликой осторожностью распечатал одно из них и громко начал читать, нарушая покой летнего утра: — «Уважаемая миссис Джиббс...» — Он остановился, чтобы дать ей насладиться этим моментом: беззвучно шевеля губами, с полужакрытыми глазами она повторяла прочитанные слова. Бенджи повторил их с актерскими интонациями и продолжил: — «...Высылаем вам наш рекламный проспект Общеконтинентального заочного университета, содержащий ответы на все ваши вопросы, каким образом вы сможете пройти наш заочный курс инженеров-сантехников...»

— Бенджи, Бенджи! Я так счастлива! Начни еще раз сначала!

— «Уважаемая миссис Джиббс...»

С этого дня почтовый ящик больше не пустовал. В него устремился весь мир; в нем было тесно от вестей из таких мест, где Кора никогда не бывала и о которых даже никогда не слышала. В нем толпились дорожные расписания, рецепты пирогов со специями, и даже было письмо от одного престарелого джентльмена, мечтавшего о «леги пятидесяти лет, с мягким характером, обеспеченной, с матримониальными планами». В ответ Бенджи написал: «Я уже замужем, но все равно благодарю вас за проявленную чуткость. Искренне ваша — Кора Джиббс».

А письма из-за гор продолжали прибывать: нумизматические каталоги, романы в дешевых переплетах, магические гороскопы, рецепты от артрита, образчики порошка от блох. Мир заполнил доверху ее ящик для писем, и она больше не была отрезана от других людей. Если кто-нибудь писал ей, например, о тайнах исчезнувших древних майя, на следующей неделе он получал от нее три письма, и формальная переписка перерастала в теплую дружбу. Однажды после

целого дня писанины Бенджи даже пришлось отмачивать руку в растворе английской соли.

К концу третьей недели миссис Браббам вообще перестала навещаться к своему ящику. Она даже не выходила подышать воздухом на крыльцо, так как Кора вечно торчала на дороге, кланяясь и улыбаясь почтальону.

В этот год лето слишком быстро подошло к концу, а точнее, его главная часть: визит Бенджи. Вот на столе лежат завернутые в его красный носовой платок сэндвичи с луком, украшенные веточками мяты, чтобы отбить запах; вот на полу сверкают его начищенные башмаки; и вот на стуле, держа в руках карандаш, некогда такой длинный и желтый, а теперь коротенький и изжеванный, сидит сам Бенджи. Кора взяла его за подбородок и заглянула ему в лицо, словно разглядывала летнюю тыкву незнакомого вида.

— Бенджи, я должна извиниться перед тобой. Не помню, чтобы за все это время я хоть раз взглянула тебе в лицо. Мне кажется, что я изучила каждую складку, каждый ноготь, каждую бородавку на твоих руках, но твое лицо я могу и не узнать в толпе.

— На такую физиономию и смотреть-то нечего, — застенчиво ответил он.

— Но эту руку я узнаю из миллиона, — продолжала Кора. — Если бы мне в темной комнате пожали руку тысячи людей, я все равно безошибочно узнала бы твою и сказала бы: «Это ты, Бенджи». — Она тихонько рассмеялась и подошла к дверям. — Я вот все думаю, — она посмотрела на соседний дом, — я не видела миссис Браббам уже несколько недель. Сидит дома и носа не кажет. А виновата я. Нечестно я поступила с ней, даже хуже, чем она со мной. Я выбила у нее землю из-под ног. Это было подло и злобно, и мне теперь стыдно. — Она снова взглянула на запертую дверь соседки. — Бенджи, можешь напоследок оказать мне еще одну услугу?

— Да, мэм.

— Напиши письмо для миссис Браббам.

— Мэм?

— Да, напиши одной из этих компаний по распространению порошков или рецептов, чего угодно, и подпишись именем миссис Браббам.

— Хорошо, — ответил Бенджи.

— И тогда через неделю или через месяц почтальон снова засвистит у наших ворот, и я попрошу его подняться к ней

и лично вручить ей письмо. А я уж постараюсь встать так, чтобы она видела, что я ее вижу. И я помашу ей своими письмами, а она мне помашет своими, и мы улыбнемся друг другу.

— Да, мэм, — сказал Бенджи.

Он написал три письма, тщательно их заклеил и положил в карман.

— Я пошлю их из Сент-Луиса.

— Это было чудесное лето, — сказала она.

— Да, конечно.

— Вот только, Бенджи, писать я так и не научилась. Я была вся в письмах и заставляла тебя писать до поздней ночи, и мы оба были так заняты, посылая купоны и получая образчики. Батюшки, да на учебу времени просто не было! Но это значит...

Он знал, что это значит, и пожал ей руку. Они остановились в дверях.

— Спасибо, — сказала она, — за все, за все.

И он убежал. Он добежал до загородки луга, легко ее перепрыгнул и, пока не скрылся из виду, все бежал и бежал, размахивая письмами; бежал туда, в огромный мир, где-то там, за горами.

После ухода Бенджи письма продолжали приходить еще почти шесть месяцев. Морозный утренний воздух пронзала трель серебряного свистка светло-зеленого почтового фургончика, и в красивый почтовый ящик опускались два-три голубых или розовых конверта.

Наконец наступил особый день. День, когда миссис Брам получила свое первое настоящее письмо.

Потом писем не было целую неделю, потом месяц, а потом исчез и почтальон, и его свисток больше не тревожил тишину на пустынной горной дороге. Сначала в ящике поселился паук, а потом воробей.

И Кора, которая, если бы письма продолжали еще идти, раздавила бы их бестрепетной рукой, теперь только смотрела на них до тех пор, пока на ее лице не появились две блестящие мокрые дорожки. Она держала в руках голубой конверт.

— От кого это?

— Понятия не имею, — отозвался Том.

— Что в нем написано? — всхлипнула она.

— Понятия не имею, — ответил Том.

— Я никогда уже не узнаю, что происходит в том, большом мире, да, никогда уже не узнаю, — сказала она. — Ну что вот написано в этом письме? А в этом? А в том?

Она ворошила гору писем, пришедших уже после того, как ушел Бенджи.

— Весь мир, все люди, все события — а мне ничего не узнать. Весь этот мир, мир людей ждет от нас ответа, а мы не пишем. И никогда уже не напишем!

И наконец настал день, когда ветер опрокинул почтовый ящик. По утрам Кора по-прежнему выходит на порог, расчесывает волосы щеткой и молча глядит на горы. Но за все последующие годы она ни разу не прошла мимо почтового ящика, чтобы не остановиться и без всякой цели не опустить в него руку. И ничего там не найдя, она уходит бродить по полям.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Лошади медленно брели к привалу. Седоки — муж и жена — смотрели вниз, на сухую песчаную долину. У женщины был растерянный вид, вот уже несколько часов она молчала, просто не могла говорить. Ей было душно под мрачным грозовым небом Аризоны, суровые обветренные скалы угнетали ее. На ее дрожащие руки упало несколько холодных дождевых капель.

Она бросила усталый взгляд на мужа. Он был весь в пыли, впрочем, держался в седле легко и уверенно. Закрыв глаза, она думала, как безмятежно прошли все эти годы. Достала зеркальце и посмотрелась в него. Она хотела увидеть себя веселой, но никак не могла заставить себя улыбнуться, сейчас это было совсем не к месту. Давили тяжелые свинцовые облака, удручала телеграмма, принесенная сегодня утром конным посыльным; изматывала бесконечная дорога до города.

Она продрогла, а дороге все не было видно конца.

— Я никогда не была верующей, — произнесла она тихо, не поднимая век.

— Что? — оглянулся на нее Берти.

— Нет. Ничего, — прошептала она, покачав головой. Все эти годы она прожила беззаботно, ни разу не испытыв потребности пойти в церковь. Она слышала, как почтенные люди говорят о Боге, о полированных церковных скамьях, о каллах в больших бронзовых ведрах и о колоколах, таких огромных, что звонарь раскачивается в них вместе с языком. Все эти высокопарные, страстные и проникновенные речи были ей одинаково безразличны. Она даже представить себя не могла на церковной скамье.

— Да мне просто ни к чему было ходить в церковь, — пробормотала она, словно оправдываясь.

Она никогда не придавала этому значения. Жила своими заботами, ходила по своим делам. От работы ее маленькие ручки стали гладкими, как галька. Труд отполировал ее ногти лаком, какого не купишь ни в одном магазине. Воспитание детей сделало ее руки ласковыми и сдержанно-строгими, а любовь к мужу — нежными. Теперь же нависшая тень смерти заставила их дрожать.

— Сюда, — позвал Берти.

Их лошади спустились по пыльной тропе туда, где в стороне от пересохшего ручья стояло старинное кирпичное здание. В окна были вставлены зеленые стекла, крыша — из красной черепицы. Внутри синели машины, а множество проводов тянулось далеко в пустыню. Она посмотрела на уходящие за горизонт мачты высоковольтных передач и, все еще занятая своими мыслями, оглянулась на необычные зеленые окна и огненно-красные стены.

Она не помнила ни одного стиха из Священного писания и никогда не оставляла в своей Библии закладки. Правда, жила она в жаркой пустыне, среди раскаленного солнцем гранита, пот лил с нее ручьями, но тут ей ничего не угрожало. Беды, из-за которых люди не спят по ночам, в память о которых остаются морщины на лице, были ей неведомы. Несчастья проходили стороной, не задевая ее. Смерть была ураганом, гул которого доносился откуда-то издалека.

Двадцать лет унеслись в прошлое, как перекасти-поле, с тех пор как она поселилась на Западе, надела обручальное кольцо одинокого охотника, и пустыня заполнила их жизнь. Ни один из четырех ее детей ни разу не был опасно болен или при смерти. Никогда ей не приходилось становиться на колени, разве только чтобы отдраить и без того хорошо выскобленный пол.

Теперь всему этому пришел конец. Они ехали в далекий городок, потому что утром принесли клочок желтой бумаги, в котором сухо, но ясно говорилось о том, что ее мать умирает.

И сколько она ни думала об этом, как ни пыталась представить себе, все это никак не укладывалось у нее в голове. Она лишилась привычной опоры и оказалась в беспомощном положении. Ее мысли лихорадочно метались, как стрелки компасов в магнитную бурю, все привычные представления о том, где север и где юг, где верх и где низ,

вдруг пошатнулись, рухнули, и все беспорядочно закружилось и завертелось. Рука Берти лежала у нее на плече, но даже от этого она не чувствовала себя уверенней. Словно настал конец красивой сказки и началась страшная. Умирала ее мама. Это было невыносимо.

— Давай остановимся, — не в силах справиться со своим страхом, она очень нервничала и говорила с раздражением.

Берти оставался невозмутимым, его не ввела в заблуждение раздражительность жены. Он-то знал, что это не в ее характере — у нее была ясная голова. Дождь все накрапывал. Он повернулся к ней и нежно взял за руку.

— Конечно, нужно остановиться. — Берти покосился на небо. — Тучи с востока. Надо переждать, будет ливень. Не хватало еще вымокнуть.

Она разозлилась на себя из-за собственной несдержанности. Как-то против ее желания одно потянуло за собой другое. Она была не в состоянии говорить и расплакалась навзрыд, сотрясаясь всем телом. Ее лошадь сама остановилась у кирпичной стены и мягко переступала с ноги на ногу.

Поникшая, с застывшим взглядом, она скользнула из седла на руки Берти и обняла его.

— Похоже, никого нет, — сказал он, опуская ее на землю. — Эй, есть тут кто-нибудь? — позвал он и увидел табличку на дверях:

«СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Комитет по электроэнергии»

В воздухе висело густое жужжание. Провода пели на одной ноте, непрестанно, то слегка повышая, то чуть снижая тон, как хозяйка, которая гудит себе что-то под нос и готовит на плите в мягком сумраке кухни. В здании никого не было видно. Все вокруг дрожало от вибрации. Так, кажется, должен гудеть горячий воздух, когда он плывет и струится над раскаленным полотном железной дороги в жаркий солнечный день. А слышно только, как звенящая напряженная тишина давит на барабанные перепонки.

Дрожь от вибрации пробегала через пятки по ее изящным ногам и, разливаясь по всему телу, подобралась к сердцу, коснулась его, и она заволновалась, словно в очередной раз увидела Берти сидящим на верхней балке загона. Дрожь проникла в мозг, пленила каждую его клеточку, и ей вдруг захотелось запеть. Так с ней бывало, когда она читала хорошие книги или слышала красивые песни.

Все вокруг было насыщено гудением. Оно пронизывало раскаленный воздух, пустыню и даже кактусы в ней — гудением было охвачено все.

— Что это? — спросила она, растерянно глядя на здание.

— Не знаю. Похоже на электростанцию, — отозвался Берти и толкнул дверь. — Хм, открыто, — удивился он. — Вот только жаль, нет никого.

Дверь широко распахнулась, и в виски им ударил сильный, как порыв ветра, гул.

Они вступили под своды таинственного поющего зала. Она шла под руку с Берти, крепко прижавшись к нему.

Тут было сумрачно, как в подземном царстве. Все вычищено, отшлифовано до блеска, словно какие-то невидимки упорно, день и ночь, без усталости, без конца терли, терли и терли пол, стены и машины. Им показалось, будто они шагают сквозь строй молчаливо стоящих людей. Но люди превратились в круглые, похожие на снаряды машины, поставленные в два ряда и гудящие во всю мочь. Из черных, серых, зеленых машин тянулись золотистые кабели и белые провода, поблескивали серебристые коробки с малиновыми контактами и белыми надписями. В полу было углубление и там бешено крутилось, с неразличимой для глаз скоростью полоскалось что-то невидимое. (Центрифуга вертелась очень быстро, казалось, она застыла на месте.) С темного потолка гигантскими змеями свисали медные провода, переплетения труб поднимались от цементного пола по огненно-красным кирпичным стенам. Пахло озоном, как после грозы. Время от времени раздавался треск, что-то шуршало, шелкало, шипело; там, где провода подходили к фарфоровым и стеклянным изоляторам, иногда проскакивали искры.

А за стенами, в мире реальном, начался дождь.

Ей не хотелось тут оставаться. Все здесь было ей чуждо: люди оказались серыми машинами, а музыка звучала как орган, гудевший то на высокой, то на низкой ноте. Но по окнам уже растекались дождевые струи.

— Похоже, это надолго. Придется тут заночевать. Да и поздно уже, — сказал Берти. — Пойду занесу вещи.

Она молчала. Ее тянуло дальше. Куда, к чему? Она не знала. Наверное, в город. Там бы она купила билеты и, крепко зажав их в руке, побежала бы к поезду, и поезд помчался бы с грохотом, а потом, проехав сотни миль, она бы сошла с него и пересела на лошадь или машину — и

снова в путь. И, наконец, увидела бы свою маму, живую или мертвую. Только бы хватило времени и сил. Где бы ни проходила ее дорога, она будет довольствоваться лишь воздухом, чтобы дышать, пищей и водой, чтобы смочить пересохшие губы, да твердой землей под ногами, чтобы ходить. Но уж лучше вообще не испытывать всего этого. «Ну зачем ехать к маме, к чему слова, волнения? — спрашивала она себя. — И кому от этого легче?»

Пол под ногами блестел, как замерзшая речка. Шаги отдавались сухим гулким эхом, ясно и четко. Каждое произнесенное слово летело обратно, будто из каменной пещеры.

Она слышала, как Берти за ее спиной складывает на пол вещи. Он расстелил пару серых одеял и достал несколько банок консервов.

Была ночь. Потоки дождя все текли и текли по высоким зеленым окнам, струи воды свивались в тончайшие узоры. Удары грома рвали дождевую завесу, молнии врезались в каменистую землю и переламывались.

Она положила голову на подвернутое одеяло, но как ни старалась устроиться поудобнее, гудение огромной электростанции не давало покоя. Она перевернулась на другой бок, закрыла глаза, постаралась уснуть, но в голове по-прежнему гудело от вибрации. Тогда она встала, расправила одеяло и снова легла.

Гудение, однако, не отступало.

Какое-то чувство подсказывало ей, что и Берти не спит. Интуиция никогда не подводила ее. В том, как он дышал, была едва уловимая разница. Он дышал беззвучно, совсем неслышно, но она знала, что он сейчас задумчиво смотрит на нее в темноте. Она обернулась.

— Берти?

— Что?

— Я тоже не сплю.

— Знаю.

Она лежала, вытянувшись, неподвижно и была вся напряжена, а он расслабился и чуть поджал ноги. Она смотрела на него и дивилась его спокойствию.

— Берти, — сказала она и, помолчав, продолжала: — Как тебе здесь?

Он ответил не сразу.

— О чем это ты?

— Как ты можешь тут *отдыхать*? — сказала и загнулась. Нехорошо вышло. Получалось, что она его упрекает, а ей вовсе этого не хотелось. Она знала его как человека, который видит скрытое от глаз других, которого ничто не оставляет равнодушным, но эти качества не мешали ему оставаться добрым и простым. Его мучили те же мысли, что и ее, и он переживал за ее маму, но внешне выглядел хладнокровным и безразличным. Все его мысли и переживания были скрыты от глаз, запрятаны глубоко в душе, где жила его вера, его внутренняя сила, она-то и не позволяла ему быть в разладе с самим собой. Он умел встретить любую неприятность. Уверенность и стойкость делали Берти неуязвимым, он был защищен ими, как лабиринтом или сетью, в которой запутывались и терялись все надвигающиеся напасти, и никакие беды, кажется, не могли причинить ему боли. Глядя на его спокойствие, она иногда, сама того не желая, выходила из себя, но тут же подавляла в себе бессмысленную злость, понимая, что злиться на него — это все равно что обижаться на природу за то, что она в каждый персик вложила по косточке.

— Почему я так и не научилась этому? — сказала она наконец.

— Чему?

— Ты научил меня всему... Ты заставил меня по-своему смотреть на мир. Я знаю только то, чему ты меня научил. — Она остановилась. Трудно это было выразить словами. Их жизнь текла спокойно, как кровь в жилах.

— И вот только верить ты меня не научил, — сказала она. — Я никогда об этом от тебя не слышала.

— Этому не учатся, — ответил он. — Просто однажды ты расслабишься, тебе станет легко. Вот и все.

«Расслабишься, — думала она. — Почувствую облегчение? Но только телесное. А как избавиться от того, что в мыслях?» Ее пальцы вдруг сами собой сжались. Взгляд блуждал по залу огромной электростанции. Над головой возвышались мрачные силуэты машин, вспыхивали искры... Вибрация пронизывала все тело.

От усталости ее клонило ко сну. Глаза слипались. Ее тело наполнилось гудением, словно затрепетали крылышки тысячи крошечных колибри.

Она проводила взглядом теряющиеся во мраке под потолком трубы, посмотрела на машины, услышала вой

центрифуг... И тут ее дремота исчезла, и ею овладело беспокойство. Стены, пол, потолок — все запрыгало и заплясало перед глазами, гудение нарастало и нарастало, и к ней пришла вдруг удивительная легкость, она увидела в зеленых окнах очертания высоковольтной линии, убегающей в сырую мглу.

Ее тело дрожало и гудело. Ей показалось, что ее вдруг рвануло и оторвало от земли. Бешено крутящееся динамо подхватило ее и завертело, она стала невидимой и током потекла по медным проводам!

В какой-то миг она стала вездесущей!

Она пронеслась по проводам, оставляя позади громадные мачты высоковольтных передач, прожужжала в проводах над бесчисленными опорами, увенчанными изоляторами из зеленого стекла, похожими на хрустальных птиц, держащих в клюве высоковольтную линию. Провода несли ее через города, городки и поселки, фермы и ранчо, гасьенды, разветвляясь в четыре стороны, потом еще в восемь. Она скользила по паутине проводов, наброшенной на пустыню!

И мир стал вдруг чем-то бóльшим, чем просто дома, горы, дороги и пасущиеся кони, покойник под каменной плитой, колючка кактуса или город, искрящийся в ночи своими огнями. Мир уже не был раздроблен, расколот на части. Охваченный сетью гудящих проводов, он стал вдруг единым целым.

С потоком света она влилась в каждый дом, в каждую комнату, и туда, где жизнь только пробудилась от шлепка по попке новорожденного, и туда, где жизнь в человеке уже едва теплилась, как свет в лампочке, горела неровно, тлела и погасла совсем. Поток электричества увлекал ее за собой. На сотни миль вокруг в окнах загорелся свет, и все стало доступно ее зрению и слуху, одиночество ушло. Теперь она стала такой же, как все, одной из многих тысяч людей, о чем-то размышляющих, в чем-то убежденных.

Она трепетала, как сухая, безжизненная тростинка. От высокого напряжения ее мысли металась и запутывались в переплетении проводов.

Во всем царило равновесие. В одном месте она видела, как жизнь увядает, а рядом, всего в какой-нибудь миле, люди поднимали бокалы за новорожденного, передавали сигары, улыбались, хохотали, жали друг другу руки. Она видела бледные, вытянутые лица умирающих в белых по-

стелях, слышала, как они начинают постигать и принимать смерть, смотрела на их движения, угадывала чувства и понимала, как они одиноки и замкнуты, понимала, что им уже никогда, ни за что не увидеть мир в равновесии, каким его видит она.

Она проглотила слюну, коснулась пальцами шеи — шея горела. Веки дрожали.

Она не была одинока.

Динамо-машина раскрутила ее, а центробежная сила пустила по проводам, как из пращи, к миллионам стеклянных колбочек, привинченных под потолками. Нужно только потянуть за шнурок или повернуть рубильник, или нажать на выключатель — и они вспыхнут.

Зажечь свет можно везде, его надо только включить. Пока света не было, в домах было темно. Но вот она сразу очутилась во всех домах, вошла в каждую комнату. И она уже не одинока. И ей досталась частица большого, общего горя и страха. Но вокруг не только одни страдания. Можно посмотреть на все и с другой стороны. Жизнь начинается с рождения — это нежный, хрупкий младенец. Это тело, согретое обедом, свежие краски и звуки, запахи полевых цветов.

И как только свет где-то гаснет, жизнь зажигает его снова, и в домах опять светло.

Она очутилась сразу у Кларков и Греев, Шоу и Мартинсов, у Хэнфордов и Фентонов, у Дрейков, Губбельсов и Смитов. Она была одна, но не знала одиночества. В голове у человека есть разные отверстия. Пожалуй, это звучит странно, даже несколько глупо, но все же это отверстия. Сквозь одни мы смотрим на мир и на людей в нем, таких же беспокойных, разных и непростых, как и мы сами. Другие отверстия помогают нам слышать, и есть еще одно, чтобы поведать о своем горе, когда оно нас тяготит. Запахи пшеницы, льда, костров проникают через другие отверстия и мы узнаем через них времена года — лето, зиму или осень. Все это дано человеку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Зажмурьтесь — вы окажетесь в одиночестве. Чтобы верить во что-то, нужно просто открыть глаза.

Электрической сетью опутался весь мир, знакомый ей уже столько лет. Она вжилась в каждый провод этой сети. В ней светилась и дрожала каждая клеточка. Ее ласкало бесконечное легкое полотно, которое мило за милей укутало землю мягким, гудящим покрывалом.

В электростанции пели работающие турбины, искры, яркие, как свечи, вспыхивали и соскакивали вниз по согнутым локтям труб и кабелей. Ряды машин казались хором святых, их нимбы переливались то красным, то желтым, то зеленым, их мощные гимны возносились под самую крышу, и в зале все дрожало от эха. Снаружи порывы ветра с воем разбивались о стены, дождь заливал окна. Некоторое время она лежала, положив голову на свернутое одеяло, а потом вдруг расплакалась.

Какие мысли заставили ее плакать? Были это слезы радостного облегчения или смирения — она не знала. Торжественные звуки взлетали все выше и выше. Казалось, целый мир хлынул в ее душу. Она протянула руку и дотронулась до Берти. Он все еще не спал и смотрел в потолок. Наверное, его мысли тоже витали сейчас где-то в переплетении проводов, и в его душе отзывалось все, что ни есть на свете. Он чувствовал себя частицей целого, и это придавало ему силы и уверенности. Но ее это новое ощущение единства со всем миром ошеломило. Гудение все нарастало. Руки мужа обняли ее, она уткнулась в его плечо и снова разрыдалась, горько и неудержимо...

Утром небо над пустыней было яркое, чистое. Они неторопливо вышли из электростанции, оседлали лошадей, привязали вещи и двинулись в путь.

Над нею сияло голубое небо. Она не сразу почувствовала, что держится в седле прямо, не сутулясь, взглянула на свои руки — они не дрожат, а раньше были как чужие. Видны были горы вдалеке, краски не блекли и не расплывались перед глазами. Все было неразрывно связано: камни с песком, песок с цветком, а цветок с небом. И так бесконечно.

— Но! Пошли! — раздался в душистом прохладном воздухе голос Берти, и лошади ускорили шаг, оставляя позади кирпичное здание.

Она держалась в седле легко и изящно. В ней пробудилось чувство безмятежной легкости, и она не смогла бы теперь прожить без этого. Это было бы так же невыносимо, как персик без косточки.

— Берти, — позвала она. Он чуть придержал лошадь.

— Что?

— Мы могли бы... — начала она.

— Что бы мы могли? — переспросил он, не расслышав.

— Мы могли бы приехать сюда еще раз? — спросила она, показывая на электростанцию. — Ну, как-нибудь, в воскресенье?

Он задумчиво посмотрел на нее и кивнул:

— А что ж. Приедем, конечно, приедем.

Когда они въехали в город, она гудела себе под нос какую-то странную мелодию. Он оглянулся и прислушался. Так, наверное, гудит горячий воздух, когда плывет и струится над раскаленным полотном железной дороги в жаркий летний день. Гудит в одном ключе, на одной ноте. Гудение то чуть повышается, то понижается, но звук непрерывный, нежный и приятный на слух.

EN LA NOCHE*

Всю ночь миссис Наваррес выла, и ее завывания заполняли дом подобно включенному свету, так что никто не мог уснуть. Всю ночь она кусала свою белую подушку, и заламывала худые руки, и вопила: «Мой Джо!» К трем часам ночи обитатели дома, окончательно отчаявшись, что она хоть когда-нибудь закроет свой размалеванный красный рот, поднялись, разгоряченные и решительные, оделись и поехали в окраинный круглосуточный кинотеатр. Там Рой Роджерс гонялся за негодяями сквозь клубы застоявшегося табачного дыма, и его реплики раздавались в темном ночном кинозале поверх тихого похрапывания.

На рассвете миссис Наваррес все еще рыдала и вопила.

Днем было не так уж плохо. Сводный хор детей, орущих там и сям по всему дому, казался спасительной благодатью, почти гармонией. Да еще пыхтящий грохот стиральных машин на крыльце, да торопливая мексиканская скороговорка женщин в синелевых платьях, стоящих на залитых водой, промокших насквозь ступеньках. Но то и дело над пронзительной болтовней, над шумом стирки, над криками детей, словно радио, включенное на полную мощность, взмывал голос миссис Наваррес.

— Мой Джо, о бедный мой Джо! — верещала она.

В сумерках появились мужчины с рабочим потом под мышками. По всему раскаленному дому, развалясь в прохладных ваннах, они ругались и зажимали уши ладонями.

— Да когда же она замолкнет! — бессильно гневались они.

Кто-то даже постучал в ее дверь:

En La Noche

© Издательство «Полярис», перевод, 1996

* В ночи (исп.).

— Уймись, женщина!

Но миссис Наваррес только завизжала еще пуще: «Ох, ах! Джо, Джо!»

— Сегодня дома не обедаем! — сказали мужья своим женам. Во всем доме кухонная утварь возвращалась на полки, двери закрывались, и мужчины спешили к выходу, придерживая своих надушенных жен за бледные локотки.

Мистер Вильянасуль, в полночь отперев свою ветхую рассыпающуюся дверь, прикрыл свои карие глаза и постоял немного, пошатываясь. Его жена Тина стояла рядом, вместе с тремя сыновьями и двумя дочерьми (одна грудная).

— О Господи, — прошептал мистер Вильянасуль. — Иисусе сладчайший, спустишь с креста и утихомишь эту женщину.

Они вошли в свою сумрачную комнатушку и взглянули на голубой огонек свечи, мерцавший под одиноким распятием. Мистер Вильянасуль задумчиво покачал головой:

— Он по-прежнему на кресте.

Они поджаривались в своих постелях, словно мясо на углях, и ночь поливала их собственными приправами. Весь дом полыхал от крика этой несносной женщины.

— Задыхаюсь! — Мистер Вильянасуль пронесся по всему дому и вместе с женой удрал на крыльцо, покинув детей, обладавших великим и волшебным талантом спать, несмотря ни на что.

Неясные фигуры толпились на крыльце. Дюжина мужчин молчаливо сутулилась, сжимая в смуглых пальцах дымящиеся сигареты; облаченные в синель женщины подставлялись под слабый летний ночной ветерок. Они двигались, словно сонные видения, словно манекены, начиненные проволочками и колесиками. Глаза их опухли, голоса звучали хрипло.

— Пойдем удавим ее, — сказал один из мужчин.

— Нет, так не годится, — возразила женщина. — Давайте выбросим ее из окна.

Все устало засмеялись. Мистер Вильянасуль заморгал и обвел всех растерянным взглядом. Его жена вяло переминалась с ним рядышком.

— Можно подумать, кроме Джо никого на свете в армию не призывали, — раздраженно бросил кто-то. — Миссис Наваррес, вот еще! Да этот ее муженек Джо картошку чистить будет — самое безопасное местечко в пехоте!

— Что-то нужно предпринять, — молвил мистер Вильянасуль. Жесткая решительность собственного голоса его

испугала. Все воззрились на него. — Еще одной ночи нам не выдержать, — тупо заключил мистер Вильянасуль.

— Чем больше мы стучимся к ней, тем больше она орет, — пояснил мистер Гомес.

— Священник приходил после обеда, — сказала миссис Гутьеррес. — Мы за ним послали с отчаяния. Но миссис Наваррес даже дверь ему не открыла, как он ни упрашивал. Священник и ушел. Мы и полицейского Гилви попросили на нее наорать — думаете, она хоть послушала?

— Значит, нужно попытаться по-другому, — размышлял мистер Вильянасуль. — Кто-то должен ее... утешить, что ли...

— По-другому — это как? — спросил мистер Гомес.

— Вот если бы, — подвел итог минутному раздумью мистер Вильянасуль, — среди нас оказался холостяк...

Его слова упали, словно холодный камень в глубокий колодец. Послышался всплеск, тихо разошлись круги.

Все вздохнули.

Словно летний ветерок поднялся. Мужчины слегка приосанились; женщины оживились.

— Но, — ответил мистер Гомес, вновь оседая, — мы все женаты. Холостяков здесь нет.

— О, — сказал каждый, и все погрузились в жаркое пере-сохшее русло ночи, продолжая безмолвно курить.

— Тогда, — выпалил мистер Вильянасуль, приподнимая плечи и поджав губы, — это должен сделать один из нас!

И вновь подул ночной ветер, пробуждая в людях благоговение.

— Сейчас не до эгоизма! — объявил мистер Вильянасуль. — Один из нас должен это совершить! Или это, или еще одну ночь в аду поджариваться!

И тут люди на крыльце, прищурившись, расступились вокруг него.

— Вы ведь это сделаете, мистер Вильянасуль? — жаждали узнать они.

Он оцепенел. Сигарета едва не вывалилась у него из пальцев.

— Да, но я... — возразил он.

— Вы, — откликнулись они. — Да?

Он лихорадочно взмахнул руками.

— У меня жена и пятеро детей, один грудной!

— Но мы все женаты, а это ваша идея, и вы должны иметь храбрость не отступать от своих убеждений, мистер Вильянасуль, — говорил каждый.

Он очень перепугался и замолчал. Он боязливо взглянул на свою жену.

Она стояла, утомленно обмахиваясь ночным воздухом, и старалась разглядеть его.

— Я так устала, — горестно произнесла она.

— Тина, — сказал он.

— Я умру, если не засну, — пожаловалась она.

— Да, но, Тина... — сказал он.

— Я умру, и мне принесут много цветов и похоронят, если я не отдохну хоть немного, — пробормотала она.

— Как она скверно выглядит, — заметил каждый.

Мистер Вильянасуль колебался не более мгновения. Он коснулся вялых горячих пальцев своей жены. Он коснулся губами ее горячей щеки.

Без единого слова он покинул крыльцо.

Они слышали его шаги на темной лестнице, потом наверху, на третьем этаже, где завывала и вопила миссис Наваррес.

Мужчины снова закурили и отбросили спички, перешептываясь, словно ветер; женщины слонялись вокруг них, то и дело подходя и заговаривая с миссис Вильянасуль, опиравшейся на перила. Под ее усталыми глазами пролегли тени.

— Вот теперь, — тихо прошептал один из мужчин, — мистер Вильянасуль уже наверху!

Все затихли.

— А теперь, — выдохнул мужчина театральным шепотом, — мистер Вильянасуль стучится в ее дверь! Тук-тук.

Все молчали, затаив дыхание.

— А теперь миссис Наваррес по случаю вторжения начинает вопить с новыми силами!

С верхнего этажа донесся пронзительный вопль.

— А теперь, — воображал мужчина, сутулясь и осторожно помахивая рукой, — мистер Вильянасуль умоляет и умоляет у закрытой двери, тихо, нежно.

Люди на крыльце напряженно вздернули в ожидании подбородки, пытаясь сквозь тройной слой дерева и штукатурки разглядеть верхний этаж.

Вопли утихли.

— А теперь мистер Вильянасуль говорит быстро-быстро, он молит, он шепчет, он обещает, — тихо воскликнул мужчина.

Вопли перешли в рыдания, рыдания в стоны, и наконец все смолкло и растворилось в дыхании, в биении сердца, в ожидании.

Примерно через пару минут, потные, выжидающие, все стоявшие на крыльце услышали, как на третьем этаже брякнула щеколда, дверь открылась и мгновением позже затворилась под звуки шепота.

Дом затих.

Тишина жила в каждой комнате, словно выключенный свет. Тишина, словно прохладное вино, струилась по коридорам. Тишина обдавала их из окон, словно прохладный воздух из погреба. Они стояли и вдыхали ее прохладу.

— Ах, — вздохнули они.

Мужчины отшвырнули сигареты и на цыпочках вошли в затихший дом, женщины следом. Вскоре крыльцо опустело. Они плыли в прохладных чертогах тишины.

Миссис Вильянасуль в тупом остоленении отперла свою дверь.

— Мы должны выставить мистеру Вильянасулю угощение, — прошептал кто-то.

— Свечку ему завтра поставить.

Двери затворились.

В своей прохладной постели покоилась миссис Вильянасуль.

— Он такой заботливый, — сонно подумала она, смежив веки. — За это я его и люблю.

Тишина, словно прохладная рука, погладила ее на сон грядущий.

СОЛНЦЕ И ТЕНЬ

Камера стрекотала как насекомое. Она отливала металлической синью, точно большой жирный жук, в чутких, бережно ошупывающих руках мужчины. Она блестела в ярком солнечном свете.

— Брось, Рикардо, не надо!

— Эй, вы там, внизу! — заорал Рикардо, подходя к окну.

— Рикардо, перестань!

Он повернулся к жене:

— Ты не мне, ты им скажи, чтобы перестали. Спустишься и скажи... Что, трусишь?

— Они никого не задевают, — терпеливо произнесла жена.

Он отмахнулся от нее и лег на подоконник, глядя вниз.

— Эй, вы! — крикнул он.

Человек с черной камерой мельком взглянул на него, потом снова навел аппарат на даму в белых, как соль, купальных трусиках, белом бюстгальтере и зеленой клетчатой косынке. Она стояла прислонившись плечом к потрескавшейся штукатурке дома. Позади нее, поднеся руку ко рту, улыбался смуглый мальчонка.

— Томас! — крикнул Рикардо. Он обратился к жене: — Господи Иисусе, там стоит Томас, это мой собственный сын там улыбается.

Рикардо метнулся к двери.

— Не натвори беды! — взмолилась жена.

— Я им голову оторву! — ответил Рикардо.

В следующий миг он исчез.

Внизу томная дама переменяла позу, теперь она опиралась на облупившиеся голубые перила. Рикардо подоспел как раз вовремя.

— Это мои перила! — заявил он.

Фотограф подбежал к ним.

— Нет-нет, не мешайте, мы фотографируем. Все в порядке. Сейчас уйдем.

— Нет, не в порядке, — сказал Рикардо, сверкая черными глазами. Он взмахнул морщинистой рукой. — Она стоит перед моим домом.

— Мы снимаем для журнала мод. — Фотограф улыбался.

— Что же мне теперь делать? — спросил Рикардо, обращаясь к небесам. — Прийти в иступление от этой новости? Плясать наподобие эпилептического святого?

— Если дело в деньгах, то вот вам пять песо, — с улыбкой предложил фотограф.

Рикардо оттолкнул его руку.

— Я получаю деньги за работу. Вы ничего не понимаете. Пожалуйста, уходите.

Фотограф оторопел:

— Постойте...

— Томас, домой!

— Но, папа...

— Брысь! — рявкнул Рикардо.

Мальчик исчез.

— Никогда еще такого не бывало! — сказал фотограф.

— А давно пора! Кто мы? Труссы? — Рикардо вопрошал весь мир.

В переулке стала собираться толпа. Люди тихо переговаривались, улыбались, подталкивали друг друга локтем. Фотограф подчеркнуто вежливо закрыл камеру.

— Ол райт, пойдем на другую улицу. Я там приметил великолепную стену, чудесные трещины, отличные глубокие тени. Если мы поднажмем...

Девушка, которая во время перепалки нервно мяла в руках косынку, взяла сумку с гримом и сорвалась с места. Но Рикардо успел коснуться ее руки.

— Не поймите меня превратно, — поспешно проговорил он.

Она остановилась и глянула на него из-под опущенных век.

— Я не на вас сержусь, — продолжал он. — И не на вас. — Он повернулся к фотографу.

— Так какого же... — заговорил фотограф.

Рикардо махнул рукой:

— Вы служите, и я служу. Все мы люди подневольные. И мы должны понимать друг друга. Но когда вы приходите

к моему дому с этой вашей камерой, которая словно глаз черного слепня, пониманию конец. Я не хочу, чтобы вы использовали мой переулочек из-за его красивых теней, мое небо из-за его солнца, мой дом из-за этой живописной трещины! Ясно? «Ах как красиво! Прислонись здесь! Стань там! Сядь тут! Согнись там! Вот так!» Да-да, я все слышал! Вы думаете, я дурак? У меня книги есть. Видите вон то окно, наверху? Мария!

Из окна высунулась голова его жены.

— Покажи им мои книги! — крикнул он.

Она недовольно скривилась и что-то буркнула себе под нос, но затем, зажмурившись и отвернув лицо, словно речь шла о тухлой рыбе, показала сперва одну, потом две, потом с полдюжины книг.

— И это не все, у меня еще штук двадцать, не меньше! — кипятился Рикардо. — Вы с человеком разговариваете, не с бараном каким-нибудь!

— Все, все, — фотограф торопливо складывал свои принадлежности, — уходим. Благодарю за любезность.

— Нет, вы сперва поймите меня, что я хочу сказать, — настаивал Рикардо. — Я не злой человек. Но я тоже умею сердиться. Похож я на картонные декорации?

— Никто никого ни с кем не сравнивал. — Фотограф повесил на плечо сумку и зашагал прочь.

— Тут через два квартала есть фотограф, — продолжал Рикардо, идя за ними следом. — Так у него картонные декорации. Становишься перед ними. Написано — «Гранд-отель». Он снимает, и пожалуйста — как будто вы живете в Гранд-отеле. Ясно, к чему я клоню? Мой переулочек — это мой переулочек, моя жизнь — моя жизнь, мой сын — мой сын, а не картон какой-нибудь. Я видел, как вы распоряжались моим сыном — стань так, повернись этак! Вам фон нужен... Как это там у вас называется — характерная деталь? Для красоты, а впереди хорошенькая дама!

— Время, — выдохнул фотограф, обливаясь потом.

Его модель семенила рядом с ним.

— Мы люди бедные, — говорил Рикардо. — Краска на наших дверях облупилась, наши стены выцвели и потрескались, из водостока несет воню, улицы вымощены булыжником. Но меня душит гнев, когда я смотрю, как вы все это подаете, — словно я так нарочно задумал, еще много лет назад заставил стену треснуть. Думаете, я знал, что вы придете, и сделал краску старой? Мы вам не ателье! Мы люди, и

будьте любезны относиться к нам как к людям. Теперь вы меня поняли?

— Все до последнего слова, — не глядя ответил фотограф и прибавил шаг.

— А теперь, когда вам известны мои желания и мысли, сделайте одолжение — убирайтесь домой! Гоу хоум!

— Вы шутник, — ответил фотограф.

— Привет! — Они подошли к группе из еще шести моделей и фотографа, которые стояли перед огромной каменной лестницей. Многослойная, будто свадебный торт, она вела к ослепительно белой городской площади. — Ну как, Джо, дело подвигается?

— Мы сделали шикарные снимочки возле церкви девы Марии, там есть безносые статуи, блеск! — отозвался Джо. — Из-за чего переполох?

— Да вот, Панчо кипитится. Мы прислонились к его дому, а он возьми да рассыпся.

— Меня зовут Рикардо. Мой дом совершенно невредим.

— Поработаем здесь, крошка, — продолжал первый фотограф. — Стань у входа в тот магазин. Какая арка... и стена!.. Он принялся колдовать над своим аппаратом.

— Вот как! — Рикардо ощутил грозное спокойствие. Он выжидательно смотрел на их приготовления. Когда оставалось только щелкнуть, он выскочил перед камерой, вызывая к человеку, стоящему на пороге магазина: — Хорхе! Что ты делаешь?

— Стою, — ответил тот.

— Вот именно, — сказал Рикардо. — Разве это не твоя дверь? Ты разрешаешь им ее использовать?

— А мне-то что, — ответил Хорхе.

Рикардо схватил его за руку.

— Они превращают твою собственность в киноателье. Тебя это не оскорбляет?

— Я об этом не задумывался. — Хорхе ковырнул нос.

— Господи Иисусе, так подумай же, человече!

— Я ничего такого не вижу, — сказал Хорхе.

— Неужели я во всем свете единственный, у кого язык есть? — спросил Рикардо свои ладони. — И глаза? Или, может быть, этот город — сплошные кулисы и декорации? Неужели, кроме меня, не найдется никого, кто бы вмешался?

Толпа не отставала от них, по пути она выросла, и теперь собралось изрядно народу, а со всех сторон, привлеченные

могучим голосом Рикардо, подходили еще люди. Он топал ногами. Он потрясал в воздухе кулаками. Он плевался. Фотографы и модели боязливо наблюдали за ним.

— Так вам нужен живописный тип для фона? — рывкнул он, обращаясь к фотографам. — Я сам стану здесь. Как мне становиться? У стены? Шляпа так, ноги так, мои сандалии — я их сам пошил — освещены солнцем так? Эта дыра на рубашке — сделать ее побольше?.. Вот так? Готово. Достаточно пота у меня на лице? Волосы не коротки, добрый господин?

— Пожалуйста, стойте себе на здоровье, — сказал фотограф.

— Я не буду смотреть в объектив, — заверил его Рикардо.

Фотограф улыбнулся и прицелился камерой.

— Чуть влево, крошка.

Модель шагнула влево.

— Теперь поверни правую ногу. Отлично. Очень хорошо. Так держать!

Модель замерла, приподняв подбородок.

Брюки Рикардо съехали вниз.

— Господи! — воскликнул фотограф.

Девушки прыснули. Толпа покатилась со смеху, люди подталкивали друг друга. Рикардо невозмутимо подтянул брюки и прислонился к стене.

— Ну как, живописно получилось? — спросил он.

— Господи! — повторил фотограф.

— Пошли на набережную, — предложил его товарищ.

— Пожалуй, я пойду с вами. — Рикардо улыбнулся.

— Силы небесные, что нам делать с этим идиотом? — прошептал фотограф.

— Дай ему денег.

— Уже пробовал!

— Мало предложил.

— Вот что, сбегай за полицейским. Мне это надоело.

Второй фотограф убежал. Остальные, нервно курая, смотрели на Рикардо. Подошла собачонка, подняла ногу, и на стене появилось мокрое пятно.

— Посмотрите! — крикнул Рикардо. — Какое произведение искусства! Какой узор! Живее фотографируйте, пока не высохло!

Фотограф отвернулся и стал смотреть на море.

В переулке показался его товарищ. Он бежал, за ним не спеша шествовал полицейский. Пришлось второму фотографу обернуться и поторапливать его. Полицейский издал жестом дал ему понять, что день еще не кончился, они успеют своевременно прибыть на место происшествия.

Наконец он занял позицию за спиной у фотографов.

— Ну, что вас тут беспокоит?

— Вот этот человек. Нам нужно, чтобы он ушел.

— Этот человек? Который прислонился к стене? — спросил сержант.

— Нет-нет, дело не в том, что он прислонился... А, черт! — не выдержал фотограф. — Сейчас вы сами поймете. Ну-ка, крошка, займи свое место.

Девушка встала в позу, Рикардо тоже; на его губах играла небрежная улыбка.

— Так держать!

Девушка замерла.

Брюки Рикардо скользнули вниз.

Камера щелкнула.

— Ага, — сказал полицейский.

— Вот, доказательство у меня здесь, в камере, если вам понадобится! — воскликнул фотограф.

— Ага, — сказал полицейский, не сходя с места, и потер рукой подбородок. — Так.

Он рассматривал место действия, словно сам был фотографом-любителем. Поглядел на модель, чье беломраморное лицо вспыхнуло нервным румянцем, на булыжники, стену, Рикардо. Рикардо, стоя под голубым небом, освещенный ярким солнцем, величественно попыхивал сигаретой, и брюки его занимали далеко не обычное положение.

— Ну, сержант? — выжидательно произнес фотограф.

— А чего вы, собственно, от меня хотите? — спросил полицейский, снимая фуражку и вытирая свой смуглый лоб.

— Арестуйте этого человека! За непристойное поведение!

— Ага, — произнес полицейский.

— Ну? — сказал фотограф.

Публика что-то бормотала. Юные красотки смотрели вдалеке на чаек и океан.

— Я его знаю, — заговорил сержант, — этого человека возле стены. Его зовут Рикардо Рейес.

— Привет, Эстеван!

— Привет, Рикардо, — откликнулся сержант.

Они помахали друг другу.

— Я не вижу, чтобы он делал что-нибудь, — сказал сержант.

— То есть как это? — вскричал фотограф. — Он же голый, в чем мать родила. Это безнравственно!

— Этот человек ничего безнравственного не делает. Стоит, и все, — возразил полицейский. — Если бы он делал что-нибудь, на что глядеть невыносимо, я бы тотчас вмешался. Но ведь он всего-навсего стоит у стены, совершенно неподвижно, в этом ничего противозаконного нет.

— Он же голый, голый! — кричал фотограф.

— Не понимаю. — Полицейский удивленно моргал.

— Голым ходить не принято — только и всего!

— Голый голому рознь, — сказал сержант. — Есть люди хорошие и дурные. Трезвые и под мухой. Насколько я вижу, этот человек не пьян. Он пользуется славой доброго семьянина. Пусть он голый, но ведь он не делает со своей наготой ничего такого, что бы можно было назвать преступлением против общества.

— Да кто вы такой — уж не брат ли ему? — спросил фотограф. — Или сообщник? — Казалось, он вот-вот сорвется с места и забегает под жгучим солнцем, кусая, лая, хрипя. — Где справедливость? Что здесь, собственно, происходит? Пойдемте, девочки, найдем другое место!

— Франция, — сказал Рикардо.

— Что? — фотограф круто обернулся.

— Я говорю, Франция или Испания, — объяснил Рикардо. — Или Швеция. Я видел фотографии из Швеции — красивые стены. Вот только трещин маловато... Извините, что вмешиваюсь в ваши дела.

— Ничего, будут у нас снимки вам назло! — Фотограф тряхнул камерой, сжал руку в кулак.

— Я от вас не отстану, — сказал Рикардо. — Завтра, послезавтра, на бое быков, на базаре, всюду и везде, куда бы вы ни пошли, я тоже пойду, охотно, без скандала. Пойду с достоинством, чтобы выполнить свой прямой долг.

Они посмотрели на него и поняли, что так и будет.

— Кто вы такой, что вы о себе воображаете? — закричал фотограф.

— Я ждал этого вопроса, — сказал Рикардо. — Всмотритесь в меня. Отправляйтесь домой и поразмышляйте обо мне. Покуда есть такие, как я, хоть один на десять тысяч, мир может спать спокойно. Без меня был бы сплошной хаос.

— Спокойной ночи, няня, — процедил фотограф, и вся свора девиц, шляпных коробок, камер и сумок потянулась в сторону набережной. — Сейчас перекусим, крошки. После что-нибудь придумаем.

Рикардо спокойно проводил их взглядом. Он стоял все на том же месте. Толпа улыбаясь смотрела на него.

«Теперь, — подумал Рикардо, — пойду к своему дому, на двери которого стерлась краска там, где я тысячу раз задевал ее, входя и выходя, пойду по камням, которые я стер ногами за сорок шесть лет хождения, проведу рукой по трещине на стене моего дома — трещине, которая появилась во время землетрясения тысяча девятьсот тридцатого года. Как сейчас помню ту ночь, мы были в постели, Томас еще не родился, Мария и я сгорали от любви, и нам казалось, что наша любовь, такая сильная и жаркая, колышет весь дом, а это земля колыхалась, и утром в стене оказалась трещина. И я поднимусь по лестнице на балкон с затейливой решеткой в доме моего отца, он сам эту решетку ковал, и я буду на балконе есть то, что мне приготовила моя жена, и рядом будут мои книги. И мой сын Томас, которого я сотворил из материи — чего уж там, из простыней — вместе с моей славной супругой. Мы будем есть и разговаривать — не фотографии, и не декорации, и не картинки, и не реквизит, а актеры, да-да, совсем неплохие актеры».

И словно в ответ на его последнюю мысль, какой-то звук дошел до его слуха. Он как раз сосредоточенно, с большим достоинством и изяществом подтягивал брюки, чтобы застегнуть ремень, когда услышал этот восхитительный звук. Будто легкие крылья плескались в воздухе. Аплодисменты...

Кучка людей, которая следила за его исполнением заключительной сцены перед ленчем, увидела, сколь элегантно, с истинно джентльменской учтивостью он подтянул брюки. И аплодисменты рассыпались подобно легкой волне на берегу моря, что шумело неподалеку.

Рикардо вскинул руки и улыбнулся всем.

Поднимаясь к дому, он пожал лапу собачонке, которая окропила стену.

Рушится стена... За ней другая, третья: глухой гул — целый город превращается в развалины.

...Разгулялся ночной ветер.

Мир притих.

Днем снесли Лондон. Разрушили Порт-Саид. Выдернули гвозди из Сан-Франциско. Перестал существовать Глазго. Их нет больше, исчезли навсегда.

Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок.

На дороге, ведущей к сумрачным развалинам, появляется старик — ночной сторож. Он идет к высокой проволочной ограде, отворяет калитку и смотрит.

Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Йоганнесбург, Дублин, Стокгольм. И Клируотер в штате Канзас, Провинстаун и Рио-де-Жанейро.

Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило: видел машину, которая с ревом подкатила к ограде, видел стройных загорелых мужчин в машине, мужчин в элегантных черных костюмах, с блестящими золочеными запонками, толстыми золотыми браслетами ручных часов, ослепительными кольцами; мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок...

— Вот смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер да непогода.

— Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь, сэр.

— Может быть, еще удастся спасти Париж.

— Да, сэр!

— Постой.. черт подери! Да он размок от дождя!

Вот вам и Голливуд! Снесите! Расчищайте до конца! Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих!

— Есть, сэр... мистер Дуглас!
Машина взвыла и исчезла.

И вот — ночь. Старый ночной сторож подходит к калитке.

Он вспоминает, что было потом, когда предвечернюю тишину нарушили рабочие.

Стук, грохот, треск, гром падения. Пыль и гул, гул и пыль!

Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладки, барельефы, рамы, целлулоидные окна; город за городом, город за городом рушились наземь и замирали.

Легкое трепетание... нарастающий, затем стихающий гром... и опять лишь легкий ветерок.

Ночной сторож медленно бредет по пустынным улицам.

Вот он в Багдаде: причудливые лохмотья дервишей, в узких окнах женская улыбка под чадрой и глаза, ясные как сафиры.

Ветер несет песок и конфетти.

Женщины и дервиши пропадают

И снова кругом балки и жерди, папье-маше, холст с масляной краской, реквизит с маркой компании, и за фасадами строений — ничего, только ночь, звезды, космос.

Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в строительном мусоре, пока не находит с десяток хороших, крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди, гвозди с маленькими шляпками.

И начинает сколачивать Лондон, стучит и стучит... Доска за доской, стена за стеной, окно за окном, стук-стук, громче, громче, сталь о сталь, сталь в дерево, дерево ввысь — работает час за часом, до полуночи, без передышки, стучит, приставляет, опять стучит.

— Эй, вы!

Старик останавливается.

— Эй, сторож!

Из темноты выбегает незнакомец. Он в комбинезоне, он кричит:

— Эй, вы, как вас там?

Старик поворачивается

— Моя фамилия Смит

— О'кей, Смит, что это вы тут затеяли?

Ночной сторож спокойно смотрит на чужака:

— Кто вы?

— Келли, бригадир.

Старик кивает.

— Ага, вы из тех, что все сносят. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома, хвастали этим.

Келли откашливается, сплевывает.

— Я проверял механизмы там, где Сингапур... — Он вытирает губы. — А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете! Мы сносим, а вы снова строите. Вы что, рехнулись?

Старик кивает:

— Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.

— Послушайте, Смит. Я делаю свое дело, вы делаете свое — и всем хорошо. Я не могу вам позволить заниматься ерундой, ясно? Так и знайте, я доложу мистеру Дугласу

Старик продолжает стучать молотком.

— Позвоните ему. Вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.

Келли хохочет.

— Вы смеетесь? Дуглас не станет говорить с первым встречным. — Он делает рукой пренебрежительный жест, потом наклоняется, изучая работу Смита. — Эй, что за черт! Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки! Кончайте! Нам их завтра выдергивать!

Смит оборачивается и смотрит на Келли:

— Ясное дело, разве мир склотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь, с маленькой шляпкой, да и вколачивать надо как следует. Вот так!

Он сильно бьет по гвоздю, так что тот совершенно уходит в дерево.

Келли подбочивается.

— Предупреждаю в последний раз. Кончайте это дело, и все будет шито-крыто.

— Молодой человек, — говорит ночной сторож, заколачивая очередной гвоздь, задумывается и снова говорит: — Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Я приходил сюда, когда тут не было ничего — один сплошной луг. Подует ветер, и по лугу бегут волны... Больше тридцати лет я наблюдал, как все это вырастает, как здесь вырастает целый мир. Я жил этим. Я был счастлив. Только здесь для меня настоящий мир. Тот мир, за оградой, — место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка в доме на маленькой

улочке, я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь? Здесь собраны все страны и все дышит покоем. Давно уже я брожу по этим городам. Захотелось — закусываю в час ночи в баре на Елисейских полях! Захотелось — выпил отличного амонтильядо в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами вон там, наверху, — видите, под крышей собора Парижской богоматери? — порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения!

— Да-да, дед, точно. — Келли нетерпеливо машет рукой.

— А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир, снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать... Вы, с вашей бригадой — чем вы гордитесь? Тем, что сносите... Рушите села, города, целые страны!

— У меня семья, — говорит Келли. — Мне надо кормить жену и детей.

— Вот-вот, все так говорят. У каждого жена и дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ! Дескать, велели! Мол, вынуждены!

— Замолкни, давай сюда молоток!

— Не подходи!

— Что?! Ах ты, старый болван!..

— Этим молотком можно не только гвозди!.. — Молоток со свистом рассекает воздух, бригадир Келли отскакивает в сторону.

— Черт, — говорит Келли, — да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это же черт знает что — сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порете чушь, а через две минуты — кто его знает! — обольете все керосином и устроите пожарчик!..

— Я здесь даже щепки не трону, и вы это отлично знаете, — возражает старик.

— Вы весь участок спалить способны, — твердит Келли. — Вот что, старина, стойте тут и никуда не уходите!

Келли поворачивается и бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной страны; вот шаги его стихли вдаль, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволоочной ограды, а старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться. Сердце бешено колотится, ослабевшие пальцы роняют молоток, гвозди

рассыпаются на тротуаре, звеня, как монеты, и старик, отчаявшись, говорит сам себе:

— Ни к чему все это, ни к чему. Я не успею ничего починить, они приедут раньше. Мне нужна помощь, и я не знаю, как быть.

Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление: в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, а час поздний, теней много, они повсюду, всякого рода и вида — тени строений и тени людей. Он не глядит прямо на них, нет, потому что, если на них смотреть, они развеются. Нет, он просто шагает, шагает вдоль Пиккадилли... эхо шагов... или по Рю-де-ля-Пэ... старческий кашель... или вдоль Пятой авеню... и не смотрит ни влево, ни вправо. И повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, — его многочисленные друзья, хорошие друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полная неги итальянская песня... Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны-бубенчики, колокольчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки, но это вовсе не яблоки, это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон бубенчиков и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, крошась о черный вулканический камень, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи, трещит, разбрасывая тысячи блестящих светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь, колышутся листья папайи... И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни — удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка.

Или это всего-навсего, всего-навсего ветер?

Нет, люди, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра?

Старик останавливается, прижимает руки к груди.

Завтра их здесь не будет.

Рев клаксона!

За проволочной оградой у калитки — враг! У ворот — маленькая черная полицейская машина и большой черный лимузин киностудии, что в пяти километрах отсюда.

Снова рев клаксона!

Старик хватается за перекладины приставной лестницы и лезет, звук клаксона гонит его вверх, вверх. Створки распахиваются, враг врывается в ворота.

— Вот он!

Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу, прожектора видят мертвые кулисы Манхэттена, Чикаго, Чунцина! Свет падает на имитацию каменной громады собора Парижской богородицы, выхватывает на лестнице собора фигурку, которая карабкается все выше и выше, к покатоному звездно-черному пологому.

— Вот он, мистер Дуглас, на самом верху!

— Господи, до чего дело дошло... Нельзя уж и вечер провести спокойно. Непременно что-нибудь да...

— Он зажег спичку! Вызывайте пожарную команду!

На самом верху собора ночной сторож, защищая рукой от ветра крохотное пламя, смотрит вниз, видит полицейских, рабочих, продюсера — рослого человека в черном костюме. Они глядят на него, а он медленно поворачивает спичку, прячет ее в ладонях и подносит к сигаре. Прикуривает, сильно втягивая щеки.

Он кричит:

— Что, мистер Дуглас приехал?

Голос отвечает:

— Зачем я понадобился?

Старик улыбается:

— Поднимайтесь сюда, только один! Если хотите, возьмите оружие! Мне надо потолковать с вами!

Голоса гулко разносятся над огромным кладбищем:

— Не ходите туда, мистер Дуглас!

— Дайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь так долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго, спалит все макеты. Тут на два миллиона долларов одного леса. Готово? Я пошел.

Продюсер карабкается по темным лестницам, вдоль раковины купола, к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит свою сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.

— Ол райт, Смит, не шевелитесь.

Смит невозмутимо вынимает изо рта сигару.

— Вы зря меня боитесь. Я вовсе не помешанный.

— В этом я далеко не уверен.

— Мистер Дуглас, — говорит ночной сторож, — вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее

и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все — все до единого — были помешанные, то никто из них об этом не знал. Все вели себя одинаково и считали себя нормальными. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком, но он отклонялся от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство — понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.

Продюсер чертыхается про себя.

— Я сюда лез не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?

— Я хочу говорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж: улицы, быстро, цветы, вино, букинисты... Снова вы хлопнули в ладоши: «Да будет Константинополь!» Пожалуйста, вот он! Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один, последний раз — и все обратится в развалины. Нет, мистер Дуглас, это не так-то просто!

— В моих руках пятьдесят один процент акций этой студии!

— Студия... А что вас с ней связывает? Приходило ли вам когда-нибудь в голову приехать сюда поздно вечером, взобраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что недурно бы посидеть здесь, наверху, со мной и моими друзьями и выпить бокал амонтильядо? Пусть наше амонтильядо запахом, видом и вкусом больше похоже на кофе... а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали, вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить. Пусть вам принадлежит пятьдесят один процент акций, но они вам не принадлежат.

— Они? — воскликнул продюсер. — Что это еще за «они»?

— Трудно, трудно подобрать слова... Это люди, которые живут тут. — Широким жестом сторож показывает на темнеющие в ночном воздухе двухмерные города. — Сколько фильмов снимали в этом краю! Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на

тысячах языков, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали. Женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг. Дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море.

Продюсер вылезает из люка и садится на доски; пальцы, держащие револьвер, уже не так напряжены. Он смотрит на старика, как любопытный щенок — сначала одним, потом другим глазом; слушает — одним, потом другим ухом, наконец в раздумье качает головой.

Ночной сторож продолжает говорить:

— А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли и все сели в машины и уехали — все равно что-то осталось от этого множества разноплеменных людей. Осталось то, чем они были или пытались быть. Чужие языки и костюмы, религия и музыка, людские драмы — все, малое и большое, осталось. Дальние дали, запахи, соленый ветер, океан. Все это здесь сегодня вечером, если хорошенько вслушаться.

Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стоек, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать, а снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпает пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще не тронутыми в окружении сотен развалин, бормочут в ночи; бормочут тросы и каркасы, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.

Продюсер усмехается, качает головой.

— Вы слышали, — говорит ночной сторож. — Ведь правда слышали? По лицу видно.

Дуглас прячет револьвер в карман.

— Стоит захотеть — и услышишь все что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы бы переплюнули пяток моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?

— Вы заговорили почти вежливо, — отвечает ночной сторож.

— А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.

— Действительно? Неужели вам тут так скучно? Не думаю, скорее наоборот. Вы даже кое-что приобрели.

Дуглас тихо смеется:

— А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, и оттого, что все идет к черту, и еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мне удалось заставить вас думать? — спрашивает старик.

Дуглас снисходительно фыркает:

— Поживешь с мое в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный, тут вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?

Сторож опускается на колено и постукивает ребром одной ладони по другой, подчеркивая свои доводы.

— Слушайте. Как я только что сказал, вы явились сюда много лет назад, хлопнули в ладоши, и одним махом выросло триста городов! Потом вы добавили еще полтыщи стран и народов, самых разных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения! Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И, однако, осложнения были те же, к каким привык тот мир, за оградой, — ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?

— Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.

«Где ты, ночная музыка?» — мысленно взывает старик и плавно взмахивает рукой, словно кто-то аккомпанирует его рассказу...

— Потому что вы объединили Бостон и Тринидад, — говорит он тихо, — сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон, а Лиссабон одной стороной прислонился к Александрии, сцепили вместе Александрию и Шанхай, сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Осло и Суитготер, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке, он качается, делает шаг-другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму... Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим, иначе все полетит к чертям! Один пожар способен уничтожить всех нас, кто бы и почему

бы его ни устроил. Поэтому здесь все люди, или ожившие воспоминания, или, как вы их там еще назовете, утихомирились. Вот что это за край — прекрасный край, мирный край.

Старик смолкает, облизывает пересохшие губы, переводит дух.

— А вы, — говорит он, — хотите завтра его уничтожить.

Несколько секунд старик стоит сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.

— Мда-а-а, — произносит наконец Дуглас, — что ж... а теперь... пойдём вниз?..

Смит кивает:

— Я все сказал, что было на душе.

Дуглас исчезает в люке, сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней.

Полицейские, рабочие, двое-трое служащих — все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.

— Что вы собираетесь делать? — спрашивает Смит.

— Пожалуй, поеду опять на вечеринку, — говорит продюсер.

— Там будет весело?

— Да, — продюсер мнетя, — конечно, весело! — Он глядит на правую руку сторожа. — Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаётся?

— А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда все вокруг стали разрушителями?

Дуглас и старик идут по улицам.

— Что ж, до свидания, может быть, мы ещё увидимся, Смит.

— Нет, — отвечает Смит, — меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет Слишком поздно вы сюда вернетесь.

Дуглас останавливается:

— Проклятие! Что же я, по-вашему, должен сделать?

— Чего уж проще — оставить все как есть. Оставить города в покое.

— Этого я не могу, черт возьми! Бизнес. Придется все сносить.

— Человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное применение этим макетам, — говорит Смит

— Машина ждет! Как отсюда выбраться?

Продюсер обходит кучу обломков, потом шагает прямо по развалинам, отбрасывая ногой доски, опираясь на стояки и гипсовые фасады. Сверху сыплется пыль.

— Осторожно!

Продюсер спотыкается. Облака пыли, лавина кирпичей.. Он качается, теряет равновесие, старик подхватывает его и тянет вперед.

— Прыгайте!

Они прыгают, за их спиной с грохотом рушится половина дома, превращается в горы досок и рваного картона. В воздух поднимается огромный пылевой цветок.

— Все в порядке?

— Ничего, спасибо. — Продюсер глядит на развалившееся строение; пыль оседает. — Кажется, вы меня спасли.

— Что вы. Большинство кирпичей из папье-маше. В худшем случае получили бы несколько ссадин и синяков.

— Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?

— Нормандская башня, ее здесь поставили в 1925 году. Не ходите туда, она еще не вся обвалилась.

— Я осторожно. — Продюсер медленно подходит к макету. — Господи, да я всю эту дрянную постройку одним пальцем могу скovyрнуть. — Он упирается рукой, постройка накреняется, дрожит, скрипит. Продюсер стремительно отступает. — Ткни — и рухнет.

— И все-таки вы этого не сделаете, — говорит ночной сторож.

— Не сделаю? Подумаешь, одним французским домом больше или меньше, когда столько уже снесено.

Старик берет его за руку:

— Пойдемте взглянем с той стороны.

Они обходят декорацию.

— Читайте вывеску, — говорит Смит. Продюсер щелкает зажигалкой, поднимает ее, чтобы было видно, и читает

— «Ферст нейшнл бэнк, Меллин Таун».

Пауза.

— Иллинойс, — медленно заключает он.

Высокое строение освещено редким светом звезд и мягким светом луны.

— С одной стороны, — руки Дугласа изображают чаши весов, — французская башня. С другой, — он делает семь шагов влево, потом семь шагов вправо и все время смотрит, — Ферст нейшнл бэнк. Банк. Башня. Башня. Банк. Черт побери.

— Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас? — с улыбкой спрашивает Смит.

— Пойдите, пойдите, не спешите, — говорит Дуглас.

Он внезапно начинает видеть стоящие перед ним строения. Он медленно поворачивается, глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо, изучают, исследуют, примечают, снова изучают. Продюсер молча идет дальше. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города.

Они все говорят и говорят, пока идут. Дуглас спрашивает, сторож отвечает, Дуглас снова спрашивает, и сторож отвечает.

— Что это?

— Буддийский храм.

— А с обратной стороны?

— Лачуга, в которой родился Линкольн.

— Здесь?

— Церковь святого Патрика в Нью-Йорке

— А с другой стороны?

— Русская православная церковь в Ростове

— А это что такое?

— Ворота замка на Рейне

— А за воротами?

— Бар в Канзас-Сити

— А там? А там? А вон там? А это что? — спрашивает Дуглас. — Что это? А вон то? И то?

Они спешат, почти бегут, перекликаясь, из города в город, они и тут, и там, и повсюду, входят и выходят карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, открывают и закрывают двери.

— А это, это, это, это?

Сторож рассказывает все, что можно рассказать.

Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка.

За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке.

Они снова примолкли. Старик молчит, так как сказал все, что следовало сказать, продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.

— Спасибо.

Они задумчиво прикуривают. Выпускают дым и смотрят, как он тает в воздухе.

— Куда вы дели ваш проклятый молоток? — говорит Дуглас.

— Вот он, — отвечает Смит.

— И гвозди захватили?

— Да, сэр.

Дуглас глубоко затягивается, выпускает дым.

— О'кей, Смит, давайте работайте.

— Что?!

— Вы слышали. Почините сколько сможете, сколько успеете. Всего уже не поправишь. Но коли найдете поцелее, получше на вид — сколачивайте. Слава Богу, хоть что-то осталось! Да, не сразу до меня дошло. Человек с коммерческим чутьем и хоть каплей воображения, сказали вы... Вот где мирный край, сказали вы. Мне следовало это понять много лет назад. Ведь это оно, все, что надо, а я, словно крот, не видел, такой возможности не видел. У меня на пустыре Всемирная федерация — а я ее гроплю! Видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.

— Это верно, — говорит сторож, — я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?

— Я не обещаю большего, чем могу сделать, — отвечает продюсер. — Обещаю только попытаться. Есть шансы, что дело пойдет. Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу, хоть десять вариантов. И фабулы искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть фабула. Остается только посадить за работу несколько сценаристов. Хороших сценаристов. Пусть даже будет короткометражный фильм, двухчастевка, минут на двадцать, — этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга. Идея мне по душе, очень по душе, честное слово. Такой фильм можно демонстрировать где угодно и кому угодно, и он всем понравится. Никто не пройдет мимо, слишком в нем много будет заложено.

— Радостно вас слушать, когда вы вот так говорите.

— Надеюсь, я и впредь буду так говорить. Но на меня нельзя положиться. Я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми, сегодня — одно, завтра — другое. Может быть, вам придется колотить меня по голове этим вот молотком, чтобы я помнил.

— С удовольствием, — говорит Смит.

— И если мы действительно затеем съемки, — продолжает продюсер, — то вы нам должны помочь. Кто лучше вас знает все эти макеты! Мы будем вам благодарны за все предложения. Ну а после съемок — уж тогда-то вы не станете больше возражать, если мы снесем остальное?

— Тогда — разрешу, — отвечает сторож.

— Значит, договорились. Я отзываю рабочих — и посмотрим, что выйдет. Завтра же пришлю операторов, пусть поглядят, прикинут. И сценаристов пришлю. Потолкуете с ними. Черт возьми. Сделаем, справимся! — Дуглас поворачивается к воротам. — А пока орудуйте молотком в свое полное удовольствие. Бр-р, холодно!

Они торопливо идут к воротам. По пути старик находит ящик, где лежит его ужин. Он достает термос, встряхивает.

— Может, выпьем, прежде чем вы уедете?

— А что у вас? Тот самый амонтильядо, которым вы так хвастались?

— 1876 года.

— Ну что ж, пригубим.

Термос открывают, горячая жидкость льется в крышку.

— Прошу, — говорит старик.

— Спасибо. Ваше здоровье. — Продюсер пьет. — Здорово. Чертовски здорово!

— Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего амонтильядо еще никто не пил.

— Согласен.

Они стоят под луной, окруженные городами всего мира, пьют горячий напиток, и вдруг старик вспоминает:

— А ведь есть старая песня, она как раз подходит к случаю, застольная, кажется... Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение, когда я все слышу и ветер звучит как музыка. Вот она:

Нам всем домой по пути,
Мы все заодно! Мы все заодно!
Нам всем по пути, домой по пути,
Нам незачем врозь идти,

Мы будем всегда заодно,
Как плющ, и стена, и окно...

Они допивают кофе в Порт-о-Пренсе.

— Эй, — вдруг говорит продюсер. — Осторожно с сигаретой! Так можно весь мир поджечь!

Оба смотрят на сигарету и улыбаются.

— Я буду осторожен, — обещает Смит.

— Пока, — говорит продюсер. — Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.

— Пока, мистер Дуглас.

Калитка отворяется и затворяется, шаги стихают, лимузин ворчит и уезжает, освещенный луной, оставляя города на лугу и старого человека, который стоит за оградой и машет на прощание рукой.

— Пока, — говорит ночной сторож.

И снова лишь ветер...

МУСОРЩИК

Вот как складывался его рабочий день. Он вставал затемно, в пять утра, и умывался теплой водой, если кипятильник действовал, а то и холодной. Он тщательно брился, беседуя с женой, которая возилась на кухне, готовя яичницу или блины, или что там у нее было задумано на завтрак. К шести он ехал на работу и с появлением солнца ставил свою машину на стоянку рядом с другими машинами. В это время утра небо было оранжевым, голубым или лиловым, порой багровым, порой желтым или прозрачным, как вода на каменистом дне. Иногда он видел свое дыхание белым облачком в утреннем воздухе, иногда не видел. Но солнце продолжало подниматься, и он стучал кулаком по зеленой кабинке мусоровоза. Тогда водитель, крикнув с улыбкой «хелло!», взбирался с другой стороны на сиденье, и они ехали по улицам большого города туда, где ждала работа. Иногда они останавливались выпить чашку черного кофе, потом, согревшись, ехали дальше. Наконец приступали к работе: он выскакивал перед каждым домом из кабинки, брал мусорные ящики, нес к машине, поднимал крышку и вытряхивал мусор, постукивая ящиком о борт, так что апельсиновые корки, дынные корки и кофейная гуща шлепались на дно кузова, постепенно его заполняя. Сыпались кости от жаркого, рыбы головы, кусочки зеленого лука и высохший сельдерей. Еще ничего, если отбросы были свежие, куда хуже, если они долго лежали. Он не знал точно, нравится ему работа или нет, но так или иначе это была работа, и он ее выполнял добросовестно. Иногда его тянуло всласть поговорить о ней, иногда он совершенно выкидывал ее из головы. Иногда работа была наслаждением — выедешь спозаранок, воздух прохладный

и чистый, пока не пройдет несколько часов и солнце начнет припекать, а отбросы — вонять. И вообще, работа как работа: он был занят своим делом, ни о чем не беспокоился, безмятежно смотрел на мелькающие за дверцей машины дома и газоны, наблюдая повседневное течение жизни. Раз или два в месяц он с удивлением обнаруживал, что любит свою работу, что лучшей работы нет во всем мире.

Так продолжалось много лет. И вдруг все переменялось. Переменялось в один день. Позже он не раз удивлялся, как могла работа настолько измениться за каких-нибудь несколько часов.

Он вошел в комнату, не видя жены и не слыша ее голоса, хотя она стояла тут же. Он прошел к креслу, а она ждала и смотрела, как он кладет руку на спинку кресла и, не говоря ни слова, садится. Он долго сидел молча.

— Что-нибудь стряслось? — Наконец ее голос проник в его сознание. Она спрашивала в третий или четвертый раз.

— Стряслось? — Он посмотрел на женщину, которая говорила с ним. Ну конечно, это же его жена, он ее знает, и это их квартира, с высокими потолками и выгоревшими обоями. — Верно, стряслось, сегодня на работе.

Она ждала.

— Когда я сидел в кабине моего мусоровоза. — Он провел языком по шершавым губам и закрыл глаза, выключая зрение, пока не стало темно-темно — ни малейшего проблеска света, как если бы ты среди ночи встал с постели в пустой темной комнате. — Я, наверно, уйду с работы. Постарайся понять.

— Понять! — воскликнула она.

— Ничего не поделаешь. В жизни со мной не случалось ничего подобного. — Он открыл глаза и соединил вместе похолодевшие пальцы. — Это нечто поразительное.

— Да говори же, не сиди так!

Он вытащил из кармана кожаной куртки обрывок газеты.

— Сегодняшняя, — сказал он. — Лос-анджелесская «Таймс». Сообщение штаба гражданской обороны. Они закупают радиоустановки для наших мусоровозов.

— Что ж тут плохого — будете слушать музыку.

— Не музыку. Ты не поняла. Не музыку.

Он раскрыл огрубевшую ладонь и медленно стал чертить на ней ногтем, чтобы жена увидела все, что видел он.

— В этой статье мэр говорит, что в каждом мусоровозе поставят приемники и передатчики. — Он скосился на свою ладонь. — Когда на наш город упадут атомные бомбы, радио будет говорить с нами. И наши мусоровозы поедут собирать тела.

— Что ж, это практично. Когда...

— Мусоровозы, — повторил он, — поедут собирать тела.

— Но ведь нельзя же оставить тела, чтобы они лежали? Конечно, надо их собрать и...

Ее рот медленно закрылся. Глаза моргнули, один раз. Он следил за медленным движением ее век. Потом, механически повернувшись, будто влекомая посторонней силой, она прошла к креслу, помедлила, вспоминая, как это делается, и села, словно деревянная. Она молчала.

Он рассеянно слушал, как тикают часы у него на руке.

Вдруг она засмеялась:

— Это — шутка!

Он покачал головой. Он чувствовал, как голова поворачивается слева направо и справа налево — медленно, очень медленно, как и все, что происходило сейчас.

— Нет. Сегодня они поставили приемник на моем мусоровозе. Они сказали: когда будет тревога, немедленно сбрасывай мусор где придется. Получишь приказ по радио, поезжай куда скажут и вывози покойников.

На кухне зашипела, убегая, вода. Жена подождала пять секунд, потом оперлась одной рукой о ручку кресла, встала, добрела до двери и вышла. Шипение прекратилось. Она снова появилась на пороге и подошла к нему; он сидел неподвижно, глядя в одну точку.

— У них все расписано. Они составили взводы, назначили сержантов, капитанов, капралов, — сказал он. — Мы знаем даже, куда свозить тела.

— Ты об этом думал весь день, — произнесла она.

— Весь день, с самого утра. Я думал: может, мне больше не хочется быть мусорщиком? Бывало, мы с Томом затевали что-то вроде викторины. Иначе и нельзя... Что ни говори, помои, отбросы — это дрянь. Но коли уж довелось такую работу делать, можно и в ней найти что-то интересное. Так и мы с Томом. Мусорные ящики рассказывали нам, как живут люди. Кости от жаркого — в богатых домах, салатные листья и картофельные очистки — в бедных. Смешно, конечно, но человек должен извлекать из своей работы хоть какое-то удовольствие, иначе какой в ней смысл? Потом,

когда ты сидишь в грузовике, то вроде сам себе хозяин. Встаешь рано, работаешь как-никак на воздухе, видишь, как восходит солнце, как просыпается город, — в общем, неплохо, что говорить. Но с сегодняшнего дня моя работа мне вдруг разонравилась.

Жена быстро заговорила. Она упомянула и то, и се, и пятое, и десятое, но он не дал ей разойтись и мягко остановил поток слов:

— Знаю-знаю, дети, школа, автомашина — знаю. Счета, деньги, покупки в кредит. Но ты забыла ферму, которую нам оставил отец? Взять да переехать туда, подальше от городов. Я немного разбираюсь в сельском хозяйстве. Сделаем запасы, укроемся в логове и сможем, если что, пересидеть там хоть несколько месяцев.

Она ничего не сказала.

— Конечно, все наши друзья живут в городе, — продолжал он миролюбиво. — И кино, и концерты, и товарищи наших ребятишек...

Она глубоко вздохнула:

— А нельзя несколько дней подумать?

— Не знаю. Я боюсь. Боюсь, что если начну размышлять об этом, о моем мусоровозе и о новой работе, то свыкнушу. Но, видит небо, разве это правильно, чтобы человек, разумное создание, позволил себе свыкнуться с такой мыслью?!

Она медленно покачала головой, глядя на окна, на серые стены, темные фотографии. Она стиснула руки. Она открыла рот.

— Я подумаю вечером, — сказал он. — Лягу попозже. Утром я буду знать, что делать.

— Осторожней с детьми. Вряд ли им полезно все это узнавать.

— Я буду осторожен.

— А пока хватит об этом. Мне нужно приготовить обед. — Она быстро встала и поднесла руки к лицу, потом посмотрела на них и на залитые солнцем окна. — Дети сейчас придут.

— Я не очень хочу есть.

— Ты будешь есть, тебе нужны силы.

Она поспешила на кухню, оставив его одного в комнате. Занавески висели совершенно неподвижно, а над головой был лишь серый потолок и одинокая незажженная лампочка — будто луна за облаком. Он молчал. Он растер лицо обеими руками. Он встал, постоял в дверях столовой, вошел

и механически сел за стол. Его руки сами легли на пустую белую скатерть.

— Я думал весь день, — сказал он.

Она суетилась на кухне, гремя вилками и кастрюлями, чтобы прогнать настойчивую тишину.

— Интересно, — продолжал он, — как надо укладывать тела — вдоль или поперек, головами направо или налево? Мужчин и женщин вместе или отдельно? Детей в другую машину или со взрослыми? Собак тоже в особую машину или их оставлять? Интересно, сколько тел войдет в один кузов? Если класть друг на друга, ведь волей-неволей придется. Никак не могу рассчитать. Не получается. Сколько ни пробую, не выходит, невозможно сообразить, сколько тел войдет в один кузов...

Он все еще сидел в пустой комнате, когда с шумом распахнулась наружная дверь. Его сын и дочь ворвались, смеясь, увидели отца и остановились.

В кухонной двери стремительно появилась мать и, стоя на пороге, посмотрела на свою семью. Они видели ее лицо и слышали голос:

— Садитесь, дети, садитесь! — Она протянула к ним руку. — Вы пришли как раз вовремя.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР

В то утро, когда разразился этот большой пожар, никто из домашних не смог потушить его. Вся в огне оказалась Марианна, мамина племянница, оставленная на житье у нас на время, пока ее родители были в Европе. Так что никому не удалось разбить маленькое окошко в красном ящике в углу, повернуть задвижку, чтобы вытащить шланг и вызвать пожарных в касках. Горя ярким пламенем, словно воспламенившийся целлофан, Марианна спустилась к завтраку, с громким рыданием или стоном плюхнулась за стол и едва ли проглотила хотя бы крошку.

В комнате стало слишком жарко, и отец с матерью вышли из-за стола.

— Доброе утро, Марианна.

— Что? — недоуменно посмотрела на всех присутствовавших Марианна и пробормотала: — О, доброе утро.

— Хорошо ли ты спала сегодня, Марианна?

Но им было известно, что она не спала совсем. Мама передала стакан воды Марианне, чтобы она выпила, но все боялись, что вода испарится в ее руке. Со своего председательского места за столом бабушка вглядывалась в воспаленные глаза Марианны.

— Ты больна, но это не инфекция, — сказала она. — Ни в какой микроскоп никто не обнаружит никаких микробов у тебя.

— Что? — отозвалась Марианна.

— Любовь — крестная мать глупости, — беспристрастно заявил отец.

— Она еще придет в себя, — сказала мама. — Девушки, когда они влюблены, только кажутся глупыми, потому что они ничего в это время не слышат.

— Нарушаются окружающие каналы в среднем ухе, — сказал отец. — От этого многие девушки падают в объятия парней. Уж я-то *знаю*. Меня однажды чуть не до смерти придавила одна такая падающая женщина, и позвольте мне сказать...

— Помолчи, — нахмурилась мама, глядя на Марианну.

— Да она не слышит, о чем мы тут говорим, она сейчас в столбняке.

— Сегодня утром он заедет за ней и заберет с собой, — прошептала мать отцу, будто Марианны и не было вовсе в комнате. — Они собираются покататься на его развалюхе.

Отец вытер салфеткой рот.

— А наша дочь была такой же, мама? — поинтересовался он. — Она вышла замуж и уехала так давно, что я все забыл уже. Но насколько помню, она не была такой душой. Никогда не узнаешь, как это девчонка в какой-то миг становится вдруг рысью. На этом мужчина и попадает. Он говорит себе: «О, какая прелестная глупышка, она любит меня, женюсь-ка я на ней». И он женится на ней, но однажды утром просыпается и — куда девалась ее мечтательность, а умишко вернулось к ней, голенькое, и уже развесило свое нижнее белье по всему дому. Мужчина то и дело попадает в их тенета. Он начинает чувствовать себя будто на небольшом, пустынном острове, один в своей небольшой комнате, в центре Вселенной, где медовые соты неожиданно превратились в медвежью западню, где вместо бывшей бабочки поселилась оса. У него мгновенно появляется хобби — коллекционирование марок, встречи с друзьями или...

— Ты все говоришь и говоришь, — закричала на него мать. — Марианна, расскажи нам об этом молодом человеке. Как его зовут, например? Это был Исак Ван Пелт?

— Что? О... да, Исак.

Марианна всю ночь ворочалась с боку на бок в своей постели, то хватаясь за томик стихов и прочитывая безумные строки, то лежа пластом на спине, то переворачиваясь на живот и любясь дремлющим в лунном свете ландшафтом. Всю ночь аромат жасмина наполнял комнату, и необычная для ранней весны жара (термометр показывал пятьдесят пять градусов по Фаренгейту) не давала ей уснуть. Если бы кто-нибудь заглянул к ней сквозь замочную скважину, то решил бы, что она похожа на умирающего мотылька.

В то утро перед зеркалом она кое-как пригладила волосы и спустилась к завтраку, не забыв, как ни странно, надеть на себя платье.

Бабушка в течение всего завтрака тихо посмеивалась про себя. В конце концов она сказала:

— Дитя мое, ты *должна* поесть, слышишь?

Марианна побаловалась с тостом и отложила в сторону половину его. Именно в это время на улице раздался длинный гудок клаксона. Это был Исак! На его развалюхе!

— Ура! — закричала Марианна и быстро устремилась наверх.

Юного Исака Ван Пелта ввели в дом и представили всем присутствовавшим.

Когда Марианна наконец уехала, отец сел и вытер лоб.

— Не знаю... Но по мне, это уж чересчур.

— Так ты же первый предложил ей начать выезжать, — сказала мать.

— И очень сожалею, что предложил это, — ответил он. — Но она гостит у нас уже шесть месяцев и еще шесть месяцев пробудет у нас. Я думал, что если ей встретится приличный молодой человек...

— Они поженятся, — тихо прошелестел голос бабушки, — и Марианна тут же съедет от нас — *так* что ли?

— Ну... — сказал отец.

— Ну, — сказала бабушка.

— Но ведь теперь стало хуже, чем было прежде, — сказал отец. — Она порхает вокруг, распевая без конца с закрытыми глазами, проигрывая эти адские любовные пластинки и разговаривая сама с собой. Кому по силам выдержать такое! К тому же она без конца смеется. Мало ли восемнадцатилетних девиц попадались в дурацкие сети?

— Он мне кажется вполне приличным молодым человеком, — сказала мать.

— Да, нам остается только постоянно молить Бога об этом, — сказал отец, выпивая небольшой бокал вина. — За ранние браки!

На следующее утро, первой заслышав гудок рожка автомобиля, Марианна, подобно метеору, выскочила из дома. У молодого человека не осталось времени даже на то, чтобы дойти до двери дома. Только бабушка из окна гостиной видела, как они вместе укатили вдаль.

— Она чуть не сбила меня с ног, — пожаловался отец, приглаживая усы. — А *этот* что? Болван неотесанный? Ладно.

В тот же день, вернувшись домой, Марианна прямо последовала к своим граммофонным пластинкам. Шипение патефонной иглы наполнило дом. Она поставила «Древнюю черную магию» двадцать один раз и, плавая по комнате с закрытыми глазами, подпевала: «Ля-ля-ля».

— Я боюсь войти в свою собственную гостиную, — заявил отец. — Я ушел с работы ради того, чтобы наслаждаться сигарами и жизнью, а вовсе не для того, чтобы в моей гостиной, под моей люстрой, вокруг меня жужжала эта вертихвостка-родственница.

— Тише, — сказала мать.

— В моей жизни наступил кризис, — заявил отец. — В конце концов, она всего лишь гостья...

— Ты знаешь ведь, как чувствуют себя гостящие девицы. Уехав из дома, они считают, что оказались в Париже, во Франции. Она покинет нас в октябре. И это не так уж плохо.

— А ну, посмотрим, — медленно принялся считать отец. — Как раз к тому времени, примерно через сто тридцать дней, меня похоронят на кладбище Грин Лоун. — Он встал, бросил свою газету на пол. — Ей-Богу, я сейчас же поговорю с ней.

Он подошел и встал в дверях в гостиную, вперив взгляд в вальсирующую Марианну. «Ля», — подпевала она звучащей мелодии.

Откашлявшись, он вошел в комнату.

— Марианна, — сказал он.

— «Эта древняя черная магия...» — напевала Марианна. — Да?

Он смотрел, как извиваются в воздухе ее руки. Танцуя, она вдруг бросила на него горящий взгляд.

— Мне надо поговорить с тобой.

Он подтянул галстук на шее.

— Да-ди-дум-дум-да-ди-дум-дум-дум, — напевала она.

— Ты слышишь меня? — вскричал он.

— Он такой симпатичный, — сказала она.

— Вероятно.

— Знаете, он кланяется и открывает передо мной двери, как настоящий дворецкий, и играет на трубе, как Гарри Джеймс, и сегодня утром он принес мне маргаритки.

— Не сомневаюсь.

— У него такие голубые глаза! — и она возвела очи к потолку.

Ничего достойного внимания он не смог узреть на потолке.

Продолжая танцевать, она не спускала глаз с потолка, он подошел, встал рядом с ней и тоже стал глядеть на потолок, но на нем не было ни пятен от дождя, ни трещины, и он вздохнул:

— Марианна.

— И мы ели омаров в кафе на реке.

— Омаров... Понятно, но все-таки нам не хотелось бы, чтобы ты ослабла, свалилась. Завтра, хотя бы на один день, ты останешься дома и поможешь своей тете Мэт вырезать салфетки...

— Да, сэр.

И, распустив крылышки, она закружилась по комнате.

— Ты слышала, что я тебе сказал? — спросил он.

— Да, — прошептала она. — Да. — Глаза у нее были закрыты. — О да, да, да. — Юбка взметнулась вокруг ее ног. — Дядя... — сказала она, склонив голову, покачиваясь.

— Так ты поможешь своей тете с салфетками? — вскричал он.

— Ее салфетками... — пробормотала она.

— Ну вот! — сказал он, усаживаясь на кухне с газетой в руках. — Вот я и поговорил с нею!

Но на следующее утро он, едва поднявшись с постели, услышал рык глушителя гоночного автомобиля и шаги сбежавшей по лестнице Марианны; на несколько секунд она задержалась в столовой, чтобы перехватить что-то вместо завтрака, затем остановилась перед зеркалом в ванной только для того, чтобы убедиться, что не бледна, и тут же внизу хлопнула входная дверь, послышался грохот удаляющейся машины и голоса громко распеваящей парочки.

Отец схватился обеими руками за голову.

— Салфетки!.. — простонал он.

— Что? — спросила мать.

— Сальери, — сказал отец. — Сегодня утром мы посетим Сальери.

— Но Сальери открываются лишь после десяти.

— Я подожду, — решительно заявил отец, закрыв глаза.

В течение той ночи и еще семи безумных ночей качели у веранды, мерно поскрипывая, напевали: «назад-вперед, назад-вперед». Отец, притаившийся в гостиной, явно испытывал необыкновенное облегчение, когда потягивал свою десятицентовую сигару и черри, хотя свет от сигары освещал скорее трагическую маску, нежели лицо. Скрипнули

качели. Он замер в ожидании следующего раза. До него доносились мягкие, как крылья бабочки, звуки, легкий смех и что-то очень нежное для маленьких девичьих ушек.

— Моя веранда, — шептал отец. — Мои качели, — жалобно обращался он к своей сигаре, глядя на нее. — Мой дом. — И он снова прислушивался в ожидании того, что опять раздастся скрип. — О Боже! — заключал он.

Он направился к своему рабочему столу и появился на веранде с масленкой в руках.

— Нет-нет, не вставайте. Не беспокойтесь. Я смажу вот здесь и тут.

И он смазал машинным маслом соединения в качелях. Было темно, и он не мог разглядеть Марианну, он ощущал только ее аромат. От запаха ее духов он чуть не свалился в розовый куст. Не видел он и ее дружка.

— Спокойной ночи, — пожелал он.

Он вернулся в дом, сел и уже больше не слышал скрипа качелей. Теперь до его слуха доносилось лишь легкое, как порхание мотылька, биение сердца Марианны.

— Он, должно быть, очень славный, — предположила, стоя в проеме кухонной двери, мама, вытиравшая обеденную посуду.

— Надеюсь, — буркнул отец. — Только благодаря этому я позволяю им каждую ночь качаться у нас на качелях!

— Уже столько дней они вместе, — заметила мама. — Если бы у этого молодого человека не было серьезных намерений, юная девушка не встречалась бы с ним так часто.

— Может, он сегодня вечером сделает ей предложение! — радостно предположил отец.

— Едва ли так скоро. Да и она еще слишком молода.

— Однако, — раздумывал он вслух, — все может случиться... Нет, это *должно*, черт его подери, случиться!

Бабушка хихикнула, тихо сидя в своем кресле в углу комнаты. По звучанию это похоже было на то, как если бы кто-то перевернул страницу в очень древней книге.

— Что тут смешного? — спросил отец.

— Подожди и увидишь, — ответила бабушка. — Завтра.

Отец усталился на нее, но она не произнесла больше ни слова.

— Так, так, — сказал за завтраком отец, внимательно, отечески разглядывая яйца. — Да, черт возьми, вчера вече-

ром на веранде *шепоту было еще больше*. Как его зовут? Исак? Ну что ж, если я хоть немного смыслю в людях, по-моему, он вчера вечером сделал Марианне предложение — я даже уверен в этом!

— Это было бы прекрасно, — вздохнула мама. — Свадьба весной! Но так *скоропалительно...*

— Однако, — напыщенно заявил отец, — Марианна из тех девушек, которые выходят замуж молодыми и быстро. Не станем же мы мешать ей, а?

— На этот раз ты, пожалуй, прав, — согласилась мать. — Свадьба будет на славу. Будут весенние цветы, а Марианна в свадебном наряде, который я присмотрела у Хейдекеров на прошлой неделе, будет прекрасна.

И они в нетерпении стали глядеть на лестницу, ожидая появления Марианны.

— Простите, — проскрипела со своего места бабушка, разглядывая лежавший перед нею тост, — но я на вашем месте не торопилась бы таким образом избавиться от Марианны.

— Это почему же?

— Потому.

— Почему — потому?

— Я не люблю разрушать ваши планы, — прошелестела, посмеиваясь и покачивая своей крошечной головкой, бабушка. — Пока вы, драгоценные мои, беспокоились о том, как бы выдать Марианну замуж, я следила за ней. Вот уже семь дней я наблюдала, как ежедневно этот молодой человек подъезжал на своей машине и гудел в клаксон. Он скорее всего артист, или артист, умеющий мгновенно менять свою внешность, или что-то в этом роде.

— Что? — воскликнул отец.

— Вот именно, — сказала бабушка. — Потому что сначала он был юным блондином, а на следующий день — высоким брюнетом, во вторник это был парень с каштановыми усами, а в среду — рыжий красавчик, в пятницу он стал ниже ростом и вместо «форда» остановился под окном в «шевролете».

Мать и отец сидели какое-то время, будто кто-то ударил их молотком по левому уху. В конце концов отец, весь вспыхнув, закричал:

— Ты соображаешь, что *говоришь*? Ты говоришь, что все эти парни и ты...

— Ты всегда прятался, — обрезала его бабушка. — Чтобы никому не помешать. Стоило тебе выйти в открытую, и ты увидел бы то же, что видела я. Я помалкивала. Она остынет. Это ее время, время жить. У каждой женщины наступает такая пора. Это тяжело, но пережить можно. Каждый новый мужчина ежедневно творит чудеса в девичьей душе.

— Ты, ты, ты, *ты!* — и отец едва не задохнулся, с выпученными глазами, хватаясь за горло, которому узок стал воротничок. Он в изнеможении откинулся на спинку стула. Мать сидела оглушенная.

— Доброе утро всем!

Марианна сбежала по ступенькам вниз. Отец воззрился на нее.

— Это все ты, ты, ты! — продолжал он обвинять во всем бабушку.

«Сейчас я с криками выбегу на улицу, — думал отец, — и разобью стекло на сигнале пожарной тревоги, и нажму на кнопку, и вызову пожарные машины с брандспойтами. А может, разразится поздняя снежная буря, и я выставлю на улицу, на мороз Марианну...»

Он не предпринял ничего. Поскольку в комнате для такого времени года было слишком жарко, все вышли на прохладную веранду, а Марианна, уставившись на стакан с апельсиновым соком, осталась одна за столом.

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь: настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию, — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комодке он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О Господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я вам буду писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.

— Мы были рады и счастливы. — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала.

— Уилли, Уилли...

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну, и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там, на зеленой лужайке, ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом — голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда тебе исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугий комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал шаги по траве: ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись. В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило — и они тянутся к нему, вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный

металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны — к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтоб уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Венд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Волн, Лаймвил, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны. Робинсоны! 1939-й! 1945-й! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, что ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?

..И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж. — Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок, — пребывает жена. — Хватит на всех, хватит и на гостя...

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости, да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени деревьев, у синих вод» Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает

во взрослых людях — девятеро из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень сжег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй — не воюй, плачь — не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки...» И все качал головой. А я как сидел неподалеку, с куском мяса на вилке, так и застыл! В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегая на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтоб мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И, наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало...

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому — пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — он все не трогался с места.

— Ну пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свидания!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья. Позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей

взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два-голова, три-четыре-отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетаая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, пред-рассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — не-приветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно, на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливил.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя оставка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда, — сказал Уилли и неслышно поднялся и в пред-утренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделай глупостей, — сказал про-водник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на чер-ный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули ваго-ны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливо, мальчик!

— Спасибо! — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе, — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустые улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом — и вступил в новый город.

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА

-Юг, — сказал командир корабля.
— Но, — возразила команда, — здесь, в космосе, нет никаких стран света!

— Когда летишь навстречу солнцу, — ответил командир, — и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс. — Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул: — Юг.

Медленно кивнул и повторил:

— Юг.

Ракета называлась «Кола де Оро», но у нее было еще два имени: «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки две тысячи бутылок кисловатого лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара!

Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.

— «Золотые яблоки Солнца»?

— Иетс!

— «Не бойся солнечного жара»?

— Шекспир, конечно!

— «Чаша золота»? Стейнбек. «Кувшин золота»? Стефенс. А помните — горшок золота у подножия радуги?! Черт возьми, вот название для нашей орбиты: «Радуга»!

— Температура?..

— Четыреста градусов Цельсия!

Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, Солнце! Одна сокровенная мысль всецело

владела умом командира: долететь, коснуться Солнца и навсегда унести частицу его тела.

Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму, точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы.

В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра:

— Температура восемьсот градусов!

«Падаем, — подумал командир, — падаем, подобно снежинке, в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа...»

— Тысяча двести градусов Цельсия.

Под снегом стонали моторы; охлаждающие жидкости со скоростью пятнадцать тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов.

— Тысяча шестьсот градусов Цельсия.

Полдень. Лето. Июль.

— Две тысячи градусов!

И вот командир корабля спокойно (за этим спокойствием — миллионы километров пути) сказал долгожданное:

— Сейчас коснемся Солнца.

Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.

— Две тысячи восемьсот градусов!

Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно!

— Который час? — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись.

Ибо здесь существовало лишь Солнце и еще раз Солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники; в нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках.

— Смотрите!

— Командир!

Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте; белым цветком расцвело облачко замерзшего пара — тепло человека, его кислород, его жизнь.

— Живей!

Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом.

— Брак в скафандре, командир. Он мертв.

— Замерз.

Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. Четыреста градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую; по ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы, — думал он, — человек спасается от огня и гибнет от мороза...»

Он отвернулся.

— Некогда. Времени нет. Пусть лежит. — Как тяжело поворачивается язык... — Температура?

Стрелки подскочили еще на тысячу шестьсот градусов.

— Смотрите! Командир, смотрите!

Летающая сосулька начала таять.

Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства.

...Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголки капает, точно белое вино, прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что на миг становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! — будто пробили куранты...

— Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение... Лед тает!

Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо.

— Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!

Люди забежали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем; его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как

шелушится покров корабля, видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топтит свои крики и страх... Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горящей коробочке, корабль превратился в кипящую лаву.. вихри пара... ничто!

— Командир?!

Кошмар развеялся.

— Здесь.

Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом.

— А, черт!

Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль... жаркая молния... и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, не слышимые никем, в безбрежном пространстве. Словно горсть земляники, брошенной в топку, — только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ.

— Ч-черт!

Он ударил по насосу отверткой.

— Господи!..

Командир содрогнулся. Полное уничтожение... Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми, — думал он, — мы привыкли умирать не так стремительно, — минутами, а то и часами. Даже двадцать секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудовище, которому не терпится нас сожрать!»

— Командир, сворачивать или продолжать?

— Приготовьте чашу. Теперь — сюда, заканчивайте. Живей!

Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе... металлическая рука погрузила «Золотую чашу» в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть Солнца.

«Миллион лет назад, — быстро подумал командир, направляя чашу, — обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь, головню и, защищая ее телом от дождя, торжествующе

ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались... Так огонь стал достоянием людей».

— Командир!

Четыре секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь.

«И вот сегодня мы снова на тропе, — думал командир, — тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?»

Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос.

«Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны; атомная бомба немощна и мала; лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово: прилететь, осалить — и стремглав обратно! В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами, назовите, как хотите, — которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знание о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители! Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием...»

— О!

Чаша погрузилась в Солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови Вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и положила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.

— Теперь осторожно, — прошептал командир.

— Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...

— Бог ведает, — ответил командир.

— Насос в порядке, командир!

— Включайте!

Насос заработал.

— Закройте чашу крышкой!.. Теперь подтянем — медленно, еще медленнее...

Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исповедном масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотная закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца.

Командир закрыл наружный люк.

— Готово.

Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом — на борту! Холодная кровь металась по жестким жилам: вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево...

Командир медленно вздохнул.

Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять.

— Теперь — обратно.

Корабль сделал полный поворот и устремился прочь.

— Слушайте!

Сердце корабля билось тише, тише... Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно: «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку». Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя.

Они летели домой.

Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад.

Порой мне Солнце кажется горящим древом...
Его плоды золотые реют в жарком воздухе,
Как яблоки, пронизанные соком тяготенья,
Источенные родом человеческим.

И взор людей исполнен преклоненья, —
Им Солнце кажется неопалимым древом.

Долго командир сидел возле погибшего; и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно, — думал он, — и я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков».

— Так, — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами, — так, куда же мы летим теперь, куда?

Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел и они дышат ровно, спокойно.

— После долгого-долгого путешествия к Солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь — куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой — каков твой курс?

Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове; и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекачивается на языке, будто кусочек мороженого.

— Теперь для нас в космосе есть только один курс, — сказал он.

Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак.

— Север, — буркнул командир. — Север.

И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

СОДЕРЖАНИЕ

451° по Фаренгейту, роман, <i>перевод Т. Шинкарь</i>	7
Золотые яблоки Солнца	
Ревун, <i>перевод Л. Жданова</i>	143
Пешеход, <i>перевод Норы Галь</i>	151
Апрельское колдовство, <i>перевод Л. Жданова</i>	156
Пустыня, <i>перевод Норы Галь</i>	166
Фрукты с самого дна вазы, <i>перевод Б. Клюевой</i>	176
Мальчик-невидимка, <i>перевод Л. Жданова</i>	189
Человек в воздухе, <i>перевод З. Бобырь</i>	200
Убийца, <i>перевод Норы Галь</i>	205
Золотой змей, серебряный ветер, <i>перевод В. Серебрякова</i>	214
Я никогда вас не увижу, <i>перевод Л. Жданова</i>	219
Вышивание, <i>перевод Л. Жданова</i>	223
Большая игра между черными и белыми, <i>перевод С. Трофимова</i>	227
И грянул гром, <i>перевод Л. Жданова</i>	240
Огромный-огромный мир где-то там, <i>перевод О. Васант</i>	254
Электростанция, <i>перевод А. Оганяна</i>	268
En La Noche, <i>перевод В. Серебрякова</i>	278
Солнце и тень, <i>перевод Л. Жданова</i>	283
Лут, <i>перевод Л. Жданова</i>	291
Мусорщик, <i>перевод Л. Жданова</i>	306
Большой пожар, <i>перевод Б. Клюевой</i>	311
Здравствуй и прощай, <i>перевод Норы Галь</i>	319
Золотые яблоки Солнца, <i>перевод Л. Жданова</i>	328

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Собрание фантастических произведений в 7 томах

Том второй

Составитель *Д. Смушкович*

· Ответственный за выпуск *Е. Чутов*

Редактор *М. Проворова*

Технический редактор *К. Козаченко*

Корректоры *Ж. Голубева, А. Хиришфелде*

Оператор компьютерной верстки *Е. Глуховская*

Оформление шмуцтитилов: *М. Ермаков*

Качество печати соответствует диапозитивам, предоставленным издательством.

ЛР № 062455 от 23.03.93.

Подписано в печать 7.02.97. Формат 84×108¹/₃₂.

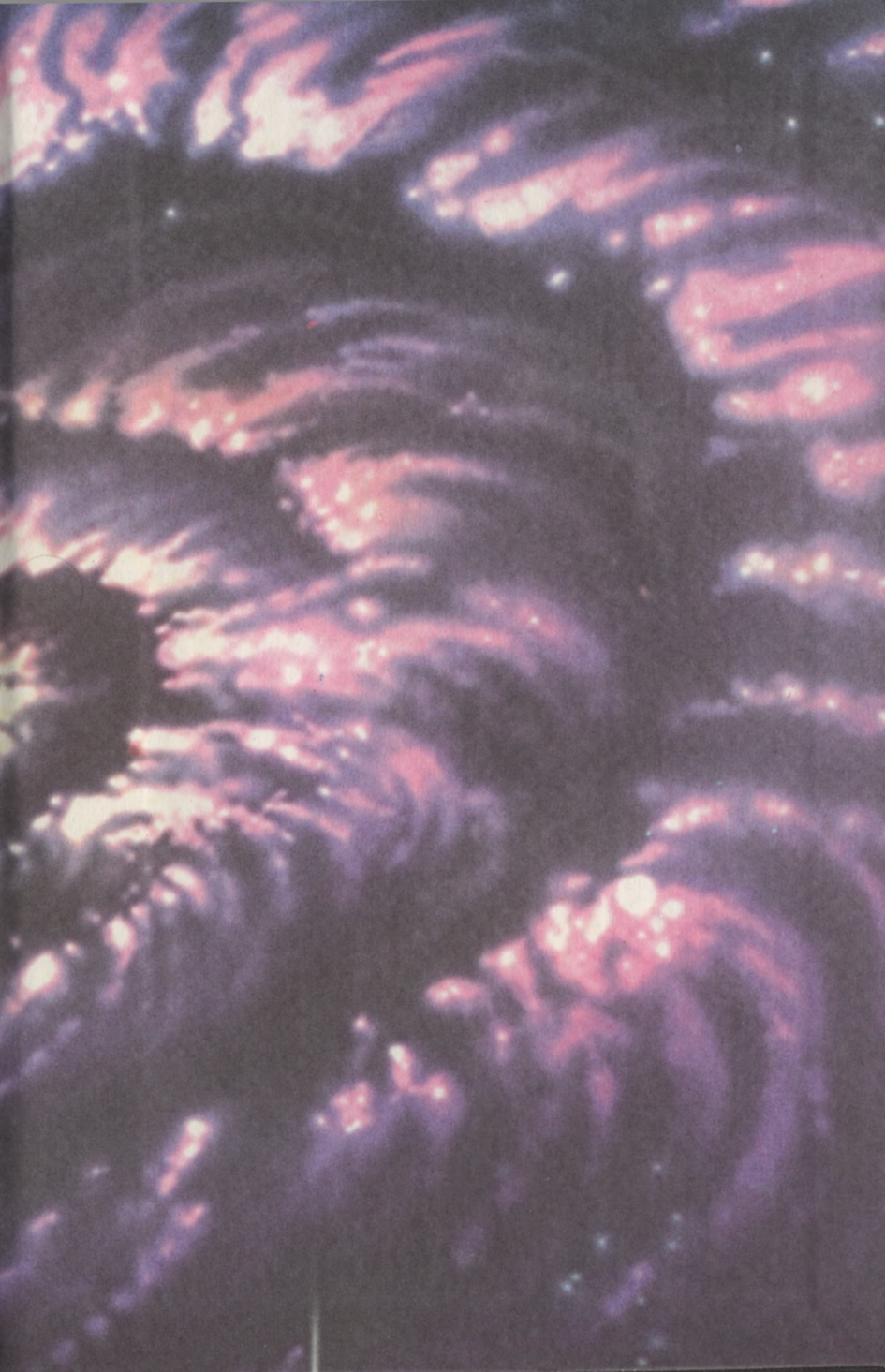
Гарнитура Таймс. Печать высокая.

Усл. печ. л. 17,64. Тираж 10 000 экз. Заказ 151.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати.
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46

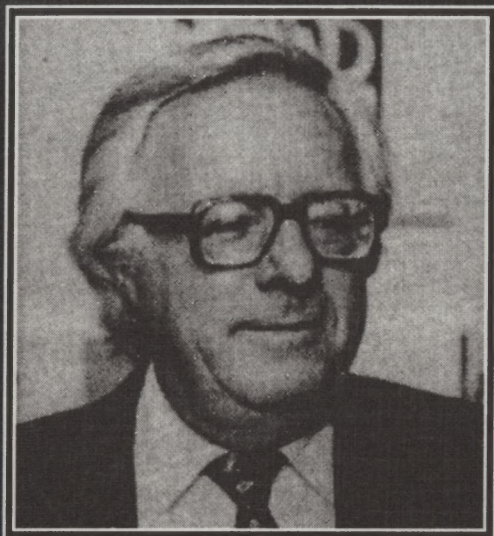






МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

В СЕМИ ТОМАХ



451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ

Самые опасные люди в мире — те, кто способны думать и помнить. Пусть их слишком много, чтобы уничтожить всех — но что им делать, когда думать станет не о чем и не за чем, когда пожарные с огнеметами войдут в не-сгораемые дома в поисках книг.

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА

Двадцать два рассказа — двадцать два шедевра, золотой урожай, вышедший из-под пера великого мастера, чье воображение опускается в темные глубины моря и возносится в небеса, к самому Солнцу

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997